

Роберт Ридель

ОГРАНИЧЕНИЯ



2007 год

-----< >-----

Роберт Ридель
ОГРАНИЧЕНИЯ, - Морбах, 2007 г., 125 стр., 20
фотографий.

Это свидетельство очевидца сороковых – пятидесятих годов прошлого века, это рассказ о непростом детстве среди ограничений, поставленных не столько жизнью, сколько властью тех лет.

...Нету лёгких времён.
И в людскую
врезается память
Только тот,
кто пронёс
эту тяжесть
на смертных плечах.

Н. Коржавин
1952 г.

Мы жили на Волге, в городе Энгельс, главном городе Республики Немцев Поволжья. У меня были каникулы, после которых я должен был пойти во второй класс. Но началась война и нашу семью, как и всех «советских» немцев, отправили на восток. После двух недель езды в телячьем вагоне мы оказались в Красноярском крае.

Родителей мобилизовали в трудармию, отца - в лагеря Вятлага, маму - в тогдашнюю Бурят-Монголию. Какое-то время я жил у чужих людей, потом попал в детприёмник, жил в детских домах Сибири и Урала (один из детских домов, когда я в него приехал, был исправительным, другой - школой глухонемых).

С отцом мы встретились в 1948 году в Казахстане, с мамой - в 1953 году, через десять лет как мы с ней расстались.

Несмотря на все мои приключения (учиться мне пришлось в шести разных школах, один год пришлось пропустить), я закончил десятилетку. Потом, и тоже не сразу, я получил высшее образование. Много лет работал.

Когда меня спрашивают о моём детстве, после моих ответов всегда возникают новые вопросы. Почему я провёл годы в детских домах и жил в чужой семье, имея родителей? Как, находясь среди беспризорной шпаны и

малолетних преступников, я не стал уголовником? Как я, детдомовец и спецпереселенец, смог получить образование, стать специалистом?

На все эти вопросы просто не ответишь. И я решил записать историю моего детства.

Свой рассказ я начну с 1941 года (когда мне было восемь лет) и закончу 1953 годом, когда мне исполнилось двадцать один год и по всем европейским понятиям я стал уже взрослым.

1. ТЕТРАДКА ПО ЧИСТОПИСАНИЮ

Учиться в первом классе мне было скучно. Читать я научился ещё задолго до школы, а выводить буквы на уроках чистописания у меня не хватало терпения – буквы получались кривые. Перед летними каникулами учительница вручила мне чистую тетрадку и сказала, что летом я должен выполнять в ней упражнения по чистописанию, и только тогда она переведёт меня во второй класс.

Лето 41-го года было теплое, солнечное и я днями пропадал на улице. С соседскими мальчишками мы шумно играли в войну, делали вылазки к лётному училищу, где у авиационных мастерских находили детальки от настоящих самолётов, бегали на старое кладбище, разыскивали красивые памятники и по буквам читали старинные надписи.

Иногда мне разрешали сходить в кино на дневной сеанс. В кинотеатр, который находился в центре города, я добирался городским автобусом и всегда приезжал заранее, чтобы успеть рассмотреть развешанные в фойе фотографии, которые постоянно обновлялись, полистать журналы. Звучал первый звонок, и толпа детей спешила в зал. После третьего звонка в зале гас свет и происходило чудо - на большом экране возникал серый с белыми искрами фон, потом слегка дрожащий текст, появлялись люди, и начиналось кино! И я не переставал удивляться – как это получается, что на экране всё движется, а на киноплёнке, обрывки которой мы находили, картинки неподвижны?

Кинофильмов тогда было мало и все они нам очень нравились. Посмотрев очередную картину, мы её горячо обсуждали и, перебивая друг друга, громко пересказывали отдельные эпизоды.

Иногда я не сразу ехал домой, а отправлялся на Волгу, на городской пляж (что мне строжайше запрещали). Автобусом я доезжал до грузовой пристани, недалеко от которой находился пляж.

У грузовой пристани я всегда задерживался – здесь была своя интересная жизнь. Кругом пахло рыбой и смолой, возле пристани и вдоль берега стояли чёрные с коричневым верхом баржи, на берегу лежали штабели мешков, деревянных бочек, ящиков, каких-то грузов. Пристань соединялась с берегом широким мостком.



**В детском саду. Среди детей я пятый слева.
Фото 1938 г.**

Шла разгрузка баржи, стоявшей у пристани, и по мостку в обоих направлениях двигались грузчики с козлами (двуручными носилками) за спиной. Грузчики, полусогнувшись, несли на берег мешки, кирпичи, какие-то тюки, двое из них скатывали деревянную бочку. Сбросив груз, грузчики почти бегом возвращались на баржу и, взвалив новую ношу, опять спускались на берег.

Налюбовавшись этой картиной, я шёл вдоль берега к лодочному перевозу. Там я забирался в большую лодку, в которой уже сидели пассажиры, и дядька лодочник, ритмично скрипя уключинами, перевозил нас через рукав Волги на остров, где находился городской пляж.

Наплескавшись на мелководе и навалявшись на тёплом мелком песке, я на той же лодке возвращался на берег, шёл к автобусной остановке и отправлялся домой.

Об этих моих путешествиях родители, конечно, не знали, а деньги на поездки у меня были – мама давала на карманные расходы.

Ещё я любил читать книжки, которые брал в школьной библиотеке. Сначала мне давали только тонкие книжки, сообразно возрасту. Её я прочитывал

по дороге домой и с полпути возвращался за следующей. Мне не верили, задавали вопросы по книжке. Потом разрешили брать книжки потолще и я просиживал часы за их чтением.

Всё было хорошо на каникулах, но когда я вспоминал про тетрадку по чистописанию, всё ещё чистую, настроение портилось.

Для взрослых это было непростое время. Ещё свежа была память о репрессиях тридцатых годов, когда посадили нескольких знакомых моих родителей. Кроме тихих разговоров на эту тему, это время мне запомнилось тем, что перепуганные и несильные в грамоте родители для демонстрации своей лояльности купили «Краткий курс истории ВКП(б)» (который листал потом только я), а вместо коврика над моей кроватью они повесили плакат с портретами членов политбюро. Суровые лица этого «политбюро» надолго врезались в мою детскую память...

Только недавно закончилась негромкая финская война. В городе появились очереди за хлебом, были перебои с продуктами. Где-то в Европе воевала Германия, в которой были фашисты – враги Советского Союза (я это знал из киножурналов и политических карикатур).

От всего этого в доме было беспокойно. Родителей особенно волновала война в Европе - если фашисты станут воевать с Советским Союзом, то советских немцев опять начнут арестовывать, как это было в тридцать седьмом.

Показывая кому-то журнал, в котором был фоторепортаж о приезде в Москву какого-то германского министра, отец с облегчением сказал:

- Ну вот, войны с Германией не будет!

Но он, как и многие, ошибся - война началась.

В первый день войны по радио передавалось обращение к народу, были тревожные сообщения о бомбёжках, постоянно звучали боевые марши и громкие песни. Я тоже проникся ненавистью к напавшему на нас врагу и крупным почерком первоклассника написал что-то вроде патриотического стихотворения.

На нашей городской окраине мало что изменилось. Только иногда объявлялись учебные воздушные тревоги, нас стали учить пользоваться противогазом и курсантов лётчиков в лётной школе почему-то сменили молоденькие матросы. И в длинных очередях за хлебом порядковые номера стали писать на ладонях химическим карандашом.

В эти дни родители заканчивали строительство нашего дома. Въехали мы в него года два тому назад. Он был недостроен и все два года продолжалась стройка (отец многое делал сам). У родителей было бедное сиротское детство, им непросто пришлось в жизни и последние годы они только и жили мечтой о своём доме.

Дом получился небольшим, но нарядным. Он стоял на цокольном кирпичном фундаменте, наружные его стены были покрыты свежим тёмсом. Его украшали красная черепичная крыша и яркие оконные ставни. Картину завершали резные деревянные ворота, которыми отец особенно гордился.

Стоя на стремянке, отец заканчивал красить ставни, когда с газетой в руках подошла мама и вслух прочитала ему указ о выселении немцев из поволжской республики.

Дослушав маму, отец медленно спустился со стремянки. Таким потерянным я его не видел.

На другой день началась непонятная для меня суета.

Соседи выносили из дома отданные им посуду, мебель, какие-то вещи. Кто-то уводил со двора корову-симменталку Милку, кто-то, гремя цепью, тащил упирающегося Полкана, нашу большую белую собаку.

К вечеру к нам во двор пришёл худой, усталый человек в полувоенной форме, переписал нас и сообщил время завтрашней погрузки в эшелон. Переписывал он нас почему-то со слов. От волнения у отца усилился акцент и нашу фамилию этот человек записал неправильно (спустя годы, я долго переписывался с Саратовским архивом МВД, который упорно отвечал, что нашу семью из города Энгельс никто не высылал).

Во время этого разговора из выходящего во двор окна выглянула дородная женщина, уже въехавшая в наш дом. С одесским говором она закричала:

- Вы же ж там запишите, что они не всю мебель нам оставляют!

Усталый человек молча посмотрел на неё и отвернулся.

На другой день мы грузились в эшелон, состоящий из пустых товарных вагонов. Народу было много, но погрузка проходила организованно, с немецкой деловитостью. В одном из таких «телячьих» вагонов расположились мы и ещё несколько семей. Несмотря на запрет, родители взяли с собой сундук с одеждой.

Отец взял ещё цыганскую гитару в чёрном футляре, а мама, к большой моей радости, тайком взяла с собой нашу собачку-болонку Чарлика.

Погрузка в вагоны, наконец, закончилась, какие-то военные проверили нас по списку и эшелон тронулся.

Началась наша долгая дорога в Сибирь.

Везли нас окружным путём, через Среднюю Азию. Первые дни мимо проходила сухая осенняя степь, потом появились участки песчаной пустыни. Через пару дней на горизонте показались голубые горы с белыми шапками, стала появляться зелень садов, поля с незнакомыми нам растениями.

Пропуская встречные поезда, эшелон часто останавливался на разъездах. На коротких остановках выходить из вагонов не разрешалось – за этим бдительно следила охрана, вагон которой был прицеплен к нашему эшелону. Но иногда эшелон останавливался надолго. Наш состав окружали солдаты и все высыпали из вагонов. Люди разминались, собирались в кучки, спрашивали друг друга о новостях, но что происходило в стране и на фронте никто не знал. Семьи собирались на земле кружком и, если попадалось топливо (сухие стебли перекати-поля, старая доска, щепки), разводили костерки, что-нибудь варили.

Засидевшись в душных вагонах, дети затевали беготню, с любопытством разглядывали солдат с винтовками, тёмнолицых узбеков, бродивших в стороне ишаков и верблюдов.

К эшелону на продажу стали приносить яблоки, дыни, арбузы. На одном из разъездов отец купил полмешка яблок. Потом мы ими угощали сибирских ребятишек, выдавших яблоки только на картинках.

От долгой езды в товарных вагонах все устали. Стояла жара, постоянно возникали какие-то трудности с едой, с водой. У взрослых было, конечно, много проблем, о которых я могу теперь только догадываться. А для меня это было интересным приключением, самым ярким впечатлением от которого были высокие, с белыми вершинами горы да смуглые до черноты узбеки в цветастых халатах.

На каком-то разъезде мужчины нашего вагона принесли доски и смастерили нары. Мы с Чарликом почти не слезали с них, не докучая взрослых своей вознёй. В вагоне были ещё дети, но неприятная история произошла, почему-то, только со мной.

Перед самым нашим отъездом соседский мальчишка подарил мне два полностью заряженных охотничьих патрона. Я по одному положил их в нагрудные карманы моей рубашки, карманы застегнул на пуговицы и так и ходил с патронами.

Папа обнаружил их только на второй день пути, когда на одной из стоянок помогал мне спуститься с вагона.

- Что это у тебя?! - спросил он.

Вынув патроны и ничего не сказав, он поспешно отошёл с ними в сторону. Стараясь быть незамеченным, он закопал патроны в землю. Теперь я представляю, как он испугался – патроны были с капсюлями и от удара могли взорваться у меня в карманах. Да и время было военное и, если бы их обнаружили, неизвестно, чем бы это для нас закончилось.

По Сибири дорога стала более скучной - эшелон двигался днём и ночью, долгих стоянок уже не было.

К концу второй недели наш эшелон стал укорачиваться - на некоторых разъездах и небольших станциях от него стали отцеплять по одному, по два вагона. Людей из вагонов развозили потом по ближним и дальним окрестным деревням.

Как-то утром мы обнаружили, что наш вагон стоит в тупике на какой-то станции, а эшелон ушёл. Потом мы узнали, что находимся в Красноярском крае и наш вагон стоит на железнодорожной станции Боготол.

Люди высыпали из вагона, с беспокойством оглядывались, всех пугала неизвестность. Дети тоже притихли.

А я вспомнил тетрадку по чистописанию, которая так и осталась чистой.

- Уж здесь-то про неё никто не спросит – подумал я с облегчением.

2. В СИБИРИ

Вскоре к нашему вагону, одиноко стоявшему в стороне от небольшого вокзала, подъехали подводы, мы погрузились и возницы-женщины направили наш обоз по дороге, ведущей в сторону от станции.

После долгой езды в «телячьем» вагоне это путешествие показалось нам настоящим праздником. Сентябрьский день был ясным, солнечным, дорога проходила среди лугов и убранных полей, часто попадались перелески с нарядной осенней листвой. Это больше напоминало европейскую Россию, чем ту суровую Сибирь, о которой так много говорили и которую все боялись. Настроение у всех поднялось, люди оживлённо переговаривались, громко смеялись. Жизнь и здесь может наладиться!

К концу дня мы добрались до деревни Аскаровка, за которой начиналась настоящая тайга. Это была большая сибирская деревня, обычная для здешних мест – её высокие бревенчатые избы вольготно раскинулась вдоль наезженного тракта.

О том, что везут каких-то «немцев», в деревне уже знали, но особого интереса к нам не проявляли. Хозяйки изб, куда нас определяли, помогали устраиваться, ни о чём не спрашивая. Было видно, что новые люди здесь не в диковинку. Мы потом встречали здесь самых разных поселенцев – белоруссов в белых холщёвых одеждах, пригнанных ещё при раскулачивании, литовцев, привезённых недавно и выделявшихся остатками своей ярко-клетчатой одежды. И неизвестно почему были в этой глуши какие-то старики евреи в широких чёрных балахонах.

Нас поселили в просторной избе-пятистенке, в которой жила хозяйка с сыном лет шестнадцати. Муж её, как и у многих здесь, был на фронте.

Через тёмные сени нас провели в избу. В просторной комнате находилась широкая русская печь, в правом дальнем углу стоял большой некрашенный стол, над которым темнели иконы. Вдоль всех стен шли тоже некрашенные лавки, такие широкие, что на них можно было лежать.

Хозяйка провела нас в комнату поменьше, в «красную» комнату. В ней стояла деревянная кровать с периной и горой подушек. Был ещё стол, покрытый белой вязаной скатертью, и несколько венских стульев. В комнату занесли наш сундук, который стал моей кроватью.

Приехавшие немцы стали работать в местном колхозе. Отец, с детства знавший и любивший лошадей, работал на конюшне, мама - на ферме.

А я стал учиться во втором классе местной начальной школы. К моему удовольствию здесь не очень-то следили за чистописанием. Тетрадей у нас не было, писали мы на разных листках.

Учёба мне давалась легче, чем местным мальчишкам. Зато они знали много чего, что мне было незнакомо. С гордостью они рассказывали, как ловили зайцев на проволочные петли, как с ружьём охотились на лис. Однажды на такой вот охоте погиб наш одноклассник (в стареньком ружье взорвался патрон). Смерть моего сверстника меня особенно потрясла.

Я сразу же включился в местную жизнь – играл с деревенскими мальчишками, участвовал в зимних праздниках с переодеванием в вывернутые шубы и катанием на санях с высокого речного берега, толкался среди более взрослой молодёжи на вечерних посиделках, поочерёдно устраиваемых в деревенских избах.

К концу года ударили невиданные для нас сорокапятиградусные морозы. Над засыпанной снегом деревней стояли столбы белого дыма. Казалось, что она вымерзла от мороза - не было видно ничего живого, даже не слышно было собачьего лая. Только иногда раздавался пушечный треск лопавшихся от мороза стенных брёвен, особенно громкий по ночам. Но жизнь деревни, конечно, не останавливалась, даже занятия в школе не прекращались. И на зерновом складе, на конюшне, на ферме велись работы.

Наша семья собиралась вместе только по вечерам, после работы. Иногда отец брал гитару и они с мамой пели до поздней ночи.

Вот один из таких «музыкальных» вечеров.

Во дворе трескучий мороз, окна покрыты густым инеем. В натопленной комнате мы сидим у стола, на котором тускло светит «коптилка». Я, как всегда, читаю книжку, родители беседуют о чём-то своём. Отец встаёт, снимает со стены чёрный футляр и осторожно вынимает из него тёмную с перламутром цыганскую гитару. Настроив её, он берёт аккорд и негромким высоким голосом начинает старинную немецкую песню, одну из тех, которые они пели дома, на Волге. Ему вторит мама, и вот эту грустную песню они поют уже вдвоём. Поют красиво, в два голоса, мягко звучит гитара.

Закончив песню, они начинают другую, такую же печальную. Послушать необычное для них пение в соседней комнате собираются женщины из ближайших изб. Они по-соседски рассаживаются по лавкам, некоторые подходят к открытой двери нашей комнаты. Кто-то вытирает слёзы, кто-то вздыхает:

- Как в церкви поют!

За прошедшие десятилетия я успел эти песни забыть. Но одну из них я всё-таки помню, правда, только мотив и только припев:

So lebe wohl, leb wohl, du, mein Tirol, Tirol!

(И так, прощай, прощай, ты, мой Тироль, Тироль).

Пели они и русские песни, такие же печальные, например, эту:

Сижу я в неволе в темнице сырой.

Вскормлённый в неволе орёл молодой,

Мой грустный товарищ, махая крылом,

Кровавую пищу клюёт под окном.

Потом я узнал, что это романс на стихи Пушкина.

Сразу после Нового года всех немцев мужчин мобилизовали в трудармию. Отец рассказывал, что их отправили в Кировскую (теперь Вятскую) область на лесоразработки.

Обращались с ними также, как и с заключёнными, и содержались они в лагерях с колючей проволокой, вооружённой охраной, собаками и т.д. Ещё он рассказывал, что от непосильной работы и плохого питания много трудармейцев погибло, и умерших складывали штабелями. В первую очередь погибали неприспособленные к такой работе учителя, врачи, артисты. В первый же месяц умер наш хороший знакомый, аптекарь дядя Карл. Он приходил к нам в гости вместе с женой и всегда со свеженакрашенными чёрными усами.

Мы с мамой остались вдвоём. В колхозе, где мама работала, оплаты не было, только начисляли трудодни («палочки»).

Жители деревни как-то обходились – у них были прошлогодние запасы, да ещё они приворывали в колхозе. А у нас запасов не было и кормились мы тем, что выменивали на вещи, которые привезли с собой. Иногда мы ели то, что мама выкраивала от корма для свиней.

Вымененное на вещи зерно мы мололи на мельнице, которая находилась в соседней деревне. Однажды, смолов на мельнице зерно, мы с мамой

возвращались поздним вечером. Выпало много снега, и мы с трудом тянули санки с мукой. Заснеженная дорога была едва различима в лесной темноте. В тот вечер я очень испугался - мне казалось, что мы заблудились. И ещё я боялся волков, о которых здесь рассказывали страшные истории. Уставшие (а я ещё и перепуганный), домой мы добрались только глубокой ночью.

Чтобы помочь папе в трудармии, мама посылала ему посылки с деревенским табаком. Веники высушенного на чердаках табака она выменивала на что-нибудь у соседок. А я изготавливал табак. Сухие табачные стебли я крошил ручным резакom и смешивал их с растёртыми в порошок табачными листьями.

Постепенно мы променяли на продукты все наши вещи. Только папину гитару мне было жалко - мама отдала её за три фунта масла. Больше не давали – на ней никто не умел играть.

Время от времени мы совершали походы в баню.

Бревенчатая банька стояла в огороде, через три дома от нас. Мы пробирались к ней поздним вечером, когда хозяева баньки уже помылись. Чёрные от копоти потолок и стены баньки были ещё тёплыми, топка была ещё горячей. Жестяным ковшиком мама плескала воду на раскалённые камни, а я, спасаясь от горячего пара, бросался на прохладный пол. Раздевались и одевались мы на морозе перед входом, а одежду складывали на тут же стоявшие старые сани. И, что удивительно, никаких простуд после этого не было.

Постепенно мы приладились к деревенской жизни. До обеда я был в школе, хозяйка с сыном Петькой весь день работали в колхозе, а мама была на ферме. Прийдя со школы, я приносил из колодца воду, готовил уроки, потом выходил на улицу гулять. Иногда Петька оставался дома и мы с ним пилили и кололи дрова для нашей печи. Особенно трудно было пилить дрова – пила была слишком тяжёлой.

По вечерам все собирались в большой комнате у жаркой буржуйки, которую недавно поставили для экономии дров.

Приходили на огонёк соседки. Жарко горели дрова, на жестяной буржуйке, раскалённой почти до красна, мы с Петькой жарили пластики картошки. Женщины перемывали кому-то косточки, обсуждали деревенские

новости. И часто вспоминали довоенную жизнь, которая была такой далёкой и казалась такой счастливой.

Прошла суровая зима, потом короткая весна.

Наступило лето 1942 года.

3. СВИНОПАС

Госпоставки прошлого года, первого года войны, оставили колхоз совсем без зерна (на трудодень колхозники получили только 400 грамм овса) и без достаточных запасов кормов. И с приходом лета оказалось, что нечем кормить колхозных свиней. А их надо было сохранить, и не только сохранить, но и выкормить, как тогда говорили, «для фронта, для победы». И в колхозе пришли к необычному решению – вывести свиней на свободный выпас, на открытое пастбище. По крайней мере, там будет подножный корм.

Маме, работавшей свиноводом, сказали, что пасти свиней придётся ей и что на лето она должна будет поехать на хутор, где находились пастбища.

Отказаться мама не могла, но настояла на том, что одной ей не справиться и попросила определить меня к ней помощником. Она не очень-то верила, что я смогу ей в чём-то помочь, просто она не хотела оставлять меня одного. Потом, правда, оказалось, что с таким беспокойным стадом без меня она действительно не смогла бы справиться.

В правлении понимали, что пасти свиней очень непросто, особенно в лесной местности, поэтому они приняли мамино предложение и на время выпаса согласились считать меня помощником свиноводки (а фактически – помощником свинопаса, подпаском). Мне было девять лет, и это моё назначение было, конечно, неофициальным. Проявилось оно в том, что за один рабочий день маме стали начислять полтора трудодня, из которых полтрудодня установили за мою работу.

В стадо, которое мы должны были пасти, собрали около тридцати свиней самых разных пород. Я и сейчас не очень-то в этом разбираюсь, да и тогда породу свиней определяли, как мне кажется, приблизительно. Двух больших курносых свиней и той же породы крупного борова с торчащими в сторону клыками все считали свиньями английской породы. К украинской относили небольших коренастых чёрнобелых хрюшек. Несколько поджарых длинномордых относили к русской породе. И никто не знал происхождения мелких круглых свинок с курчавой рыжей щетиной.

Ранним майским утром мы погнали наше стадо на хутор. Двигались по лесным дорогам, причём было жарко, свиньи уставали и норовили разбежаться.

Приходилось догонять их, возвращать. С нашим «разнокалиберным» стадом до хутора мы добрались только к обеду.

Заброшенный хутор представлял собой деревянную избу, одиноко стоявшую на опушке леса. Рядом был огорожен загон, в который мы и направили наше стадо.

В одной из двух комнат уже поселился сторож Ганн – высокий, худой старик-белорусс, одетый в белые полотняные штаны и рубаху. В другой расположились мы с мамой.

Наш рабочий день начинался ранним утром, с восходом солнца. Мы с трудом выгоняли из загона свиней и, не давая им разбежаться, гнали стадо к месту выпаса. Дойдя до поляны с росистой травой, мы пускали стадо пастись.

Но свиньи не держались стадом, они сбивались в отдельные группки, каждая из которых брела по своему хотению. Они вели себя так, как их отдалённые предки, которые жили отдельными группами, семьями (как теперешние дикие кабаны).

Удерживать стадо вместе было постоянной нашей заботой, особенно, когда рядом был лес или, что ещё хуже, кустарниковые заросли, в которых свиньи могли легко затеряться. Этого мама особенно боялась - за пропавшую свинью могли дать десять лет тюрьмы. Она постоянно покрикивала на меня, посылая за разбредавшимися животными то в одну, то в другую сторону. Её нервный крик нередко переходил в слёзы, и тогда я совсем терялся, не зная, в какую сторону бежать.

Иногда недалеко от нас паслось стадо коров. Я с завистью смотрел на пастуха – коровы спокойно жевали траву и не разбредались, как наши хрюшки, а он дремал под каким-нибудь деревом или курил свою козью ножку.

Время от времени он вставал и, громко щёлкая бичом, перегонял своё стадо на другое место.

Я тоже сплёл себе бич из сыромятной кожи. Громкое щёлканье у меня получалось, но бич помогал мне мало, особенно когда свиньи забирались в кустарник, откуда их можно выгнать было только прутом.

У супоросных свиней, ожидавших поросят, здесь на воле проснулся ещё один древний инстинкт - они постоянно куда-то прятались и сооружали себе логово. Мы с трудом находили их и возвращали в стадо.

Однажды мама предупредила, что две свиньи русской породы скоро принесут поросят и надо смотреть, чтобы они не сбежали. Как мы ни следили, одна из них всё-таки убежала. Мама долго её искала и в конце концов пригнала, неся в корзине новорождённых поросят.

Вскоре исчезла и вторая супоросная свинья. Сами мы её найти не смогли, но к нам на помощь пришли люди из деревни.

Редкой цепью мы стали прочёсывать ближайший лес и кустарники. На берегу лесной речушки обнаружился проход в высоких травяных зарослях. Пожилой заведующий фермой и мы с мамой двинулись по проходу и скоро вышли к вытоптанной площадке, где увидели сбежавшую свинью. В центре площадки она соорудила что-то вроде гнезда из мягкой травы, в котором тесной кучкой спали маленькие детки. Я протянул было руку, чтобы переложить их в корзину, но свинья кинулась на меня и, пытаясь схватить за руку, сбила с ног. Только сильный удар кнута заведующего отогнал от меня разъярённую мамашу. Когда мы потом возвращались на хутор, она с громким хрюканием бежала за корзиной с поросятами, которую нёс заведующий.

Постепенно мы приспособились к повадкам нашего стада. Когда были жаркие дни, мы подгоняли свиней к какому-нибудь лесному болотцу. С громким хрюканием они забирались в грязь, рылись в ней и подолгу там валялись. В такие часы мы могли передохнуть, не заботясь, что стадо разбредётся. Теперь мы уже знали характер каждой свиньи, некоторым дали клички. Большого английского борова мы звали Васькой, бросившуюся на меня поджарую свинью - Рысью.

С появлением в стаде поросят хлопот у нас прибавилось. Малыши старались держаться возле матки, но, несмотря на это, постоянно терялись. Приходилось их пересчитывать и недостающих искать в траве или в ближайших зарослях.

Со своим стадом мы были заняты, как говорится, от зари до зари, без перерывов и без выходных. Работа была беспокойной, но мне всё равно было скучно и я старался найти себе какое-нибудь развлечение. Когда удавалось, я собирал землянику (единственно знакомую мне тогда ягоду), по вкусу напоминавшую довоенную карамель, ловил и разглядывал нарядных бабочек, разных жуков, с интересом наблюдал за жизнью трудолюбивых муравьёв.

Встречались мне и звери – белки, зайцы, лисы, но особенно нравился небольшой полосатый зверёк – бурундук, который мог встать столбиком и спокойно меня разглядывать. Иногда я катался на борове Ваське. Лежа на его спине, я прутиком подстёгивал его по выступающей сзади части и он двигался вперёд. Когда я почёсывал ему брюхо, он, провесив его, останавливался. Однажды я решил узнать, умеют ли новорождённые поросята плавать. Для этого я загнал свинью, у которой были суточные поросята, в небольшую речку. Свинья быстро, рассекая воду, поплыла к другому берегу. Оставшиеся на берегу поросята сначала потоптались возле воды, потом один за другим попрыгали в воду и также быстро поплыли за свиньёй.

Здесь в лесу я со многим встречался впервые. Но я набирался опыта, и в этом мне помогал сторож Ганн. Он много знал, многое умел и постоянно что-то мастерил, плёл ивовые корзинки, делал туески из бересты. Для себя он плёл лапти, но не из липового лыка (липа в тех краях не растёт), а из очищенной ивовой коры.

Летней обуви у меня не было и, как все деревенские дети, я бегал босиком. Мои ноги были постоянно сбиты, но я не обращал внимания. Но пошли сенокосы и на скошенных лугах я часто ранил ноги острыми концами наискось срезанной толстой травы. Иногда они впивались в прежние ранки и от дикой боли я кричал, катаясь по земле. Мама попросила Ганна сплести лапти и для меня. Лапти получились лёгкими и удобными, в них я мог бегать где угодно, не опасаясь пораниться.

И вот ещё - с нами жил Чарлик – белый, пушистый пёсик-болонка, которого мы привезли из Энгельса. Был он комнатным, изнеженным и мы его не брали на пастбище. Днём он находился на хуторе, а вечерами встречал наше стадо звонким лаем. Сторож недолюбливал его, считая такую собаку никчемной, бесполезной.

Однажды вечером мы, как обычно, пригнали стадо, но Чарлик, почему-то, нас не встречал. Мы загнали свиней в загон, где они накинудись на молочную сыворотку, привезенную для них днём. Я побежал к Ганну:

- Дядя Ганн, а где Чарлик?

Он нехотя проворчал:

- Да здесь где-то, скоро прибежит.

Чарлик в тот вечер не прибежал, не появился он и на следующее утро. Вечером я отправился его искать. Я ходил по соседнему лесу, громко звал, высматривал в зарослях, но всё было напрасно. Уже возвращаясь, я заметил в кустах что-то белое. Подойдя поближе, я увидел, что на толстой ветке висит какой-то белый пушистый столбик и я сразу подумал, что это Чарлик. Я не стал его разглядывать и со слезами бросился на хутор, крича:

- Мама, там Чарлик висит!

Мама стала успокаивать, говорить, что мне показалось. Позднее она повела меня на то место и там, действительно, ничего не было. Но я ей, всё равно, не поверил и подумал, что сделать такое с Чарликом мог только наш сторож. После этого случая я стал его сторониться, даже побаиваться. Много позже, уже зимой, мама рассказала, что Чарлик заболел бешенством и, чтобы он никого не покусал, она попросила Ганна отвести его в лес...

В конце августа нам пришлось перебраться в деревню - для ночевавших в загоне свиней ночи стали холодными. Теперь мы их пасли недалеко от деревни - сначала на полянах, а позднее - на убранных колхозных огородах, где свиньи всегда находили остатки урожая. Но пасти их стало труднее - было много соблазнов в виде деревенских огородов.

Первого сентября 1942 года я, как все дети, отправился в школу, в третий класс. Но проучился я только один день. В этот день мама не справилась со стадом, часть свиней разбежалась. Они забрались в деревенские огороды и понаделали там бед, были скандалы. Так что нечего было думать об учёбе, и уже на следующий день я вернулся к нашему стаду.

Моя работа свинопасом закончилась поздней осенью, когда заморозки стали сильными и свиней перевели на зимнее содержание.

Мы с мамой поселились на колхозной ферме, где, кроме свиней, держали ещё овец и крупный скот. Жили мы в избушке над погребом для колхозного картофеля. Я помогал маме на ферме, но за мою работу ей уже не доплачивали.

Постоянно обитая на колхозной ферме, я насмотрелся всякого и далеко недетского. Но были и трагикомичные случаи, одним из которых - история с сороками.

Ночью наши свиньи находились в тёплом свинарнике, а днём их выгоняли в открытый загон (видимо, для закаливания). На открытом воздухе, несмотря на

крепкие морозы, они чувствовали себя совсем даже неплохо. Но для толстых англичанок настоящей бедой оказались обыкновенные чёрно-белые сороки. Хитрые птицы садились на их широкие спины, проклёвывали шкуру и лакомились свежайшим салом. Свиньи беспокойно бегали по загону, визжали, но сороки продолжали свою трапезу. У свиней образовались обширные раны, они стали худеть. Надо было что-то делать.

Заведующий фермой принёс дробовик, настрелял шесть-семь сорок и их тушки развесил на шестах вдоль всего загона. Только после этого истязание свиней прекратилось.

За зимние месяцы прежнее наше стадо сильно изменилось. Многих свиней забили, среди них и толстого добряка Ваську. Подросли молодые свинки. В тёплом свинарнике полуодичавшие на воле свиньи стали забывать свои древние инстинкты и снова превратились в обыкновенных домашних животных.

4. МАМУ УВЕЗЛИ. ТЁТЯ ШУРА

Мобилизацию в трудармию проводили, почему-то, всегда в начале года. После Нового 43-го года тоже объявили мобилизацию. На этот раз забирали женщин-немок, не имевших детей, и девушек с 15-16 лет. Уже потом мы узнали, что в эту мобилизацию попала мамина младшая сестра, которая находилась где-то здесь в Сибири. Её увезли в Заполярье, в Туруханск.

Все думали, что отправка в трудармию на этом закончится. Но через месяц объявили ещё одну мобилизацию. На этот раз забирали женщин, дети которых были старше трёх лет. Но куда девать этих детей «старше трёх лет», остающихся без матерей, в приказе о мобилизации ничего не говорилось. Некоторые из матерей могли оставить детей у родственников, а когда родственников поблизости не было, приходилось отдавать их в чужие семьи или просто оставлять там, где проживали. Отказаться от мобилизации из-за детей женщины не могли – это объявлялось дезертирством.

Маме тоже принесли повестку. Родных у нас здесь не было, а куда-нибудь меня пристроить мама не успела – всех мобилизованных вскорости отправили в район. И ей пришлось оставить меня на ферме в избушке, в которой мы жили.

Маму увезли, но что она уехала насовсем, мне не верилось. Я уже оставался один - когда мама отвозила на станцию зерно, но она всегда возвращалась. Мне и теперь казалось, что она вернётся.

После её отъезда я поснонялся по деревне, покатался с ребятами с горки и к вечеру вернулся в избушку. Растопил печку, разогрел ужин, который оставила мне мама, поел и лёг спать. Но сна не было – только теперь, в тёмной избушке, я вдруг почувствовал, что остался один. И что дальше делать я не знал.

Дверь избушки вдруг открылась и вместе с клубами мороза вошла мама. Я бросился к ней:

- Ура!! Ты вернулась!

- Я не насовсем, я скоро опять уеду.

Утром сбежались женщины, работавшие на ферме. И мама рассказала, что произошло в Тюхтете.

Когда их привезли в Тюхтет, у здания военкомата уже стояла толпа мобилизованных женщин, собранных со всего района. Некоторые, несмотря на

запрет, привезли с собой малышей. Стоял крик и плач, слышны были окрики охраны.

Женщины с детьми умоляли разрешить им взять их с собой, обещая кормить из своего пайка. Охранники с руганью оттаскивали детей от матерей, но куда их девать, особенно совсем маленьких, они не знали. Дети вырывались и с рёвом возвращались к матерям. Наконец, ничего не добившись, начальник военкомата отправил женщин по домам, пообещав собрать их позднее.

Через неделю женщин снова вызвали в район, но теперь только тех, у кого дети были старше семи лет.

На этот раз у мамы было больше времени на то, чтобы куда-нибудь меня пристроить. Помогало ей и то, что у меня было хорошее «приданое» - три мешка пшеницы, которые мы получили на трудодни. Время было голодное и без такого «приданого» кому бы я - лишний едок - был бы нужен. Мама металась по деревне и в конце концов ей удалось договориться с одной из местных – та согласилась взять меня к себе.

В день отъезда мама привела меня в избу, где мне предстояло жить (мешки с зерном привезли ещё раньше). Хозяйку избы звали тётя Надя, у неё были две дочери моего, примерно, возраста.

Мама познакомила меня с тётей Надей, передала ей мои документы и стала прощаться. Мы вышли её провожать. Обняв и поцеловав меня, мама с плачем пошла к саням, ожидавшим её вдалеке. До сих пор стоит перед глазами - морозный солнечный день, долго-долго уходит от меня плачущая мама и её голубое пальто ярко выделяется на ослепительно белом снегу.

Маму отправили на лесоповал в Бурят-Монголию (теперь это Бурятия), куда-то недалеко от китайской границы.

Тётя Надя показала мне мой угол, куда я поставил свой сундучок, показала лавку, где я буду спать. В избе было чисто, тепло, но всё это было чужим. В отведенном для меня углу я так и просидел до позднего вечера.

На другой день тёте Наде дали колхозную лошадь, чтобы привести сена для коровы. В поездку за сеном она взяла меня и одну из дочерей. Дорога шла по засыпанному снегом полям, сверкавшим на солнце, по лесу с покрытым инеем деревьями. Мы загрузили сани пахучим сеном и низкорослая лошадка повезла нас домой. С высоты возка мы видели яркорыжую лису, пробегающую по

пушистому снегу. Поездка мне понравилась, я повеселел. Но вечером опять стало тоскливо.

На третий день к нашей избе подъехали красивые сани с запряженной в них статной лошастью. В санях сидели мужчина и женщина. Высокая, по-городскому одетая женщина прошла в избу, поздоровалась со всеми и спросила меня:

- Ты Роберт?

Я ответил

- Я.

Она сказала:

- Меня зовут тётя Шура. В Тюхтете я встретила твою маму и пообещала ей взять тебя к себе. Поедешь со мной в Тюхтет?

Я вспомнил, как в деревне говорили, что в Тюхтете живётся хорошо - по каким-то там «карточкам» хлеб там дают всем, работаешь – не работаешь. И я сказал:

- Поеду.

Женщина ещё поговорила с тётей Надей. Мужчина погрузил в сани мешки с пшеницей и мы поехали в Тюхтет.

Когда мы приехали к тёте Шуре, дома у неё оказался шестимесячный сын Женя. Пока она ездила за мной, за ним присматривала тётя Паша, хозяйка избы, где тётя Шура занимала комнату. В этой комнате мы и стали жить втроём.

По утрам тётя Шура уходила в промкомбинат, где работала в бухгалтерии, и мы с Женей оставались одни. Я смотрел за ним, варил ему кашу, кормил, укладывал спать, менял пелёнки, гулял с ним во дворе. Иногда тётя Шура прибегала узнать, как мы тут. Вечером, когда у меня не было поручений, она отпускала меня на улицу поиграть с соседскими ребятами. Часто я на улицу не шёл, а оставался дома, чтобы заняться любимым занятием – чтением. Брать книги в школьной библиотеке я не мог, так как в школу не ходил, приходилось выпрашивать их у соседей, у знакомых тёти Шуры, у её коллег по работе. В этих поисках мне попадались самые разные книги. У соседской старушки я нашёл старинную книгу в тёмно-коричневом переплёте с дореволюционной орфографией. Толстая эта книга была сборником анекдотов. Анекдоты были довольно нудные, вроде этого:

«При обходе госпиталя генерал обратился к солдату, лежавшему на койке:

- Как фамилия?

Перепуганный солдат, не разобрав вопроса, ответил:

- Понос, Ваше превосходительство!

- О, греческая фамилия! - удивился генерал».

Остальные анекдоты были в таком же духе.

Когда книг не было, я читал всё, что попадалось на глаза – газеты, старые журналы, какие-то брошюры, инструкции для молодых охотников и т. п.

Запойное моё чтение сердило тётю Шуру - и с керосином трудно (по вечерам я читал при коптилке) и глаза порчу. А тётя Паша всё повторяла – у них в деревне один вот читал, читал, да и тронулся.

Но я продолжал читать при первой возможности.

Почти всю небольшую зарплату тётя Шура тратила на продукты для маленького Жени, которые покупала на базаре. Мы с ней питались, в основном, картошкой и ещё привезенной вместе со мной пшеницей. Пшеницу мололи на мельнице и из муки варили кулеш. Иногда смолоть не успевали и кашу варили из цельной пшеницы, после чего я корчился от боли в животе.

Выручало нас молоко, которое тётя Шура покупала по дешёвке у соседей, да чёрный, тяжёлый хлеб, который, хоть и понемногу, выдавали по хлебным карточкам.

С моей мамой тётя Шура была знакома ещё по Саратову, но последние несколько лет они друг о друге ничего не знали. Здесь, в Сибири, они виделись всего два раза и каждая их встреча была не совсем обычной.

Тётя Шура была русской. В Саратове она вышла замуж за немца, но сохранила свою девичью фамилию – Яковлева Александра Семёновна. В 41-м году её, как жену немца, выслали вместе с мужем в Тюхтет. Мужа взяли в трудармию и, решив, что с русской фамилией её в Сибири ничего не держит, она вернулась в Саратов. Там быстро установили, кто она такая и откуда она приехала. От ареста её спасло только то, что она на последних месяцах ждала ребёнка. Ей сказали, что если она не вернётся в Тюхтет, её посадят. С большими трудностями она добралась до станции Боготол. До Тюхтета было ещё сорок километров, но регулярного транспорта туда не было. И она застряла на станции без еды и без денег.

В это время на станцию пришёл санный обоз с зерном из нашей Аскарówki. Сдав на элеваторе зерно, сопровождавшие обоз женщины, среди которых была и моя мама, решили сходить на вокзал. И мама увидела там тётю Шуру.

Грязная, уставшая, с большим животом, она ходила по перрону и просила милостыню. Плача, они обнялись. Выслушав её историю, мама отвела её к своим саням, чем могла покормила. Потом закутала её в тулуп и так довезла до Тюхтета, через который проезжал обоз.

А следующей зимой, случайно проходя мимо военкомата, тётя Шура увидела маму в толпе мобилизованных женщин. Плача, та ей рассказала, что оставила сынишку в деревне у чужих людей. Ещё сказала, что с ним оставила три мешка пшеницы. И тётя Шура пообещала, что возмёт меня к себе.

Две эти встречи во многом определили мою судьбу.

Ещё неизвестно, как бы она сложилась, если бы я остался в деревне, из которой я, как спецпереселенец, не имел права выехать. Так бы и остался безграмотным, какими оказались многие мои сверстники, высланные на окраины Сибири и Средней Азии.

Иногда я приходил с Женей на руках на промкомбинат, где работала тётя Шура. В одном из цехов я с интересом смотрел, как из коровьих рогов делали гребешки. Женщины распиливали рога на короткие отрезки – получались широкие трубки. Трубки разрезали вдоль, разворачивали под горячим паром и под грузом распрямляли. Полученную роговую пластину обтачивали и круглыми пилками на специальном станочке выпиливали в ней частые прорезы – получались гребешки. Была там сапожная мастерская, где из сыромятной кожи делали ботинки на деревянной подошве, была пимокатная, в которой из овечьей шерсти валяли валенки (по сибирски – катали пимы).

Иногда тётя Шура брала у меня Женю и, отдав свой талон, отправляла в служебную столовую. Там мне давали зелёный от черемши суп с говяжьей требухой, который казался мне необыкновенно вкусным.

У тётя Шуры я прожил до осени 43-го. Закончилась привезенная со мной пшеница и совсем плохо было с моей одеждой. Из старой, ещё привезенной из Ангельса, я окончательно вырос, да

она уже порядочно обтрепалась. Другую одежду достать было негде. А тут ещё я стал проситься в школу, где уже начались занятия. И тётя Шура решила отдать меня в детский дом, который только что организовали в Тюхтете.

5. ШКОЛА ГЛУХОНЕМЫХ

Районный центр Тюхтет был небольшим сибирским городком, больше похожим на широко раскинувшееся село. Застроен он был деревянными домами и обычными избами и только в центре находилось несколько кирпичных строений – здание администрации, городская школа и школа-интернат для глухонемых детей (её здесь называли «школой глухонемых»). Размещалась «школа глухонемых» в мрачном одноэтажном здании, окружённом глухим деревянным забором. Городские мальчишки стороной обходили эту «школу», так как глухонемые, если их хоть как-нибудь задевали, остервенело кидались на обидчика, так что с ними лучше было не связываться.

К осени 1943 года в районе скопилось много неустроенных детей, в том числе детей, чьи матери были мобилизованы в трудармию. И чтобы пристроить хотя бы часть этих детей, власти решили на базе школы глухонемых создать детский дом. Глухонемых детей куда-то увезли, а здание и весь персонал передали вновь организованному детскому дому.

В начале октября тётя Шура привела меня в детский дом. Директор его, строгая пожилая женщина, просмотрела мои документы, о чём-то спросила тётю Шуру, несколько вопросов задала и мне. Пришла воспитательница, отвела меня в спальню и показала мою койку. С этого началась моя детдомовская жизнь.

Ещё по дороге сюда я думал, что главное - я смогу там учиться. Меня не очень-то волновало, как я буду там жить, какие там будут условия. Но довольно быстро эти условия дали о себе знать.

Прежде всего, мы были всегда голодными. Несмотря на трудное военное время, продуктами детский дом обеспечивали. Но добрую их часть, сюда по всему, разворовывали, так как положенные нам порции, и так довольно скромные, доходили до нас сильно урезанными. Однажды нам на ужин дали макароны, приправленные маслом. Это было необычайно вкусно, но на мою тарелку положили три коротенькие макаронинки. Острое чувство голода после такой еды я помню до сих пор.

Зимой в здании было холодно, особенно в сильные морозы – не хватало дров, хотя вокруг стояли леса. По ночам приходилось спать в верхней одежде. Я приспособился и, одевшись в пальто, спал на животе, поджав под себя колени и

с головой укрывшись суконным одеялом, под которым можно было надышать тепло.

Но самое трудное - в детдоме была тяжёлая обстановка, которую принесли с собой воспитатели из бывшей школы глухонемых, привыкшие работать с дефективными детьми. Видимо, мы очень отличались от глухонемых, потому что всегда взвинченные и издёрганные воспитатели никак не могли справиться с собранной ребятнёй. В детдоме постоянно что-то случалось - кто-то из мальчишек схулиганил или подрался, кто-то ушёл без разрешения в город, часто пропадали ложки, полотенца, простыни (это продавалось на соседнем базаре). Устраивались допросы, обыски в спальнях.

Особенно мы боялись молодого, чахоточного вида воспитателя. Он по одному вызывал нас в кабинет и там допрашивал, поигрывая резиновой трубкой. Ребята рассказывали, что некоторых из них он больно хлестал этой трубкой.

За чью-нибудь провинность не всегда наказывали только виновного, были и коллективные наказания. Особенно часто наказывали нашу мальчишескую группу - мы часами выстаивали в строю или нас днями не выпускали на прогулку.

Каждый вечер нас выстраивали на линейку, на которой проводилась обязательная переключка и почти всегда устраивались громкие разносы. Во время таких разносов воспитатели могли вдруг замолчать и перейти на язык глухонемых. Они жестикулировали, что-то энергично обсуждая. Посоветавшись в мёртвой тишине, они сообщали своё решение:

- Иванов, выйди из строя! Из-за твоего поведения ваша группа не идёт завтра на прогулку!

Или ещё что-нибудь в этом роде.

Всё это гнетуще действовало на ребят. Несколько раз из детдома сбежали, но до станции, куда стремились сбежавшие, было, как я уже говорил, сорок километров и устроенная погоня каждый раз настигала беглецов.

Потом мне пришлось побывать в железнодорожном детприёмнике и в другом детском доме, но время, которое я провёл в этой «школе глухонемых» (как продолжали называть наш детский дом), было для меня самым трудным.

Местом, где можно было хоть на время вырваться из всего этого, была городская школа. Учились мы вместе с городскими детьми, учителя там были

обычные, поэтому в школе я себя чувствовал почти как дома. Учился я с большим желанием да и учёба давалась мне легко. Домашние задания мы готовили все вместе, и я, ученик третьего класса, часто решал задачи пятиклассникам.

Ещё одним способом уйти от действительности было чтение книг, которые я брал в школьной библиотеке. Я погружался в совсем другой мир, в мир приключений, в мир прекрасных и смелых людей.

Весной 1944 года тётя Шура получила вызов от своего мужа, Христьяна Хорста (без таких вызовов нельзя было ездить по железной дороге). А ехать к нему надо было далеко, на Северный Урал. Отправляться одной, с ребёнком на руках, тётя Шура не решилась. Она пришла в детский дом и предложила мне поехать с ней. Я, конечно, же согласился – появилась возможность сбежать из этой «школы глухонемых».

6. СЕВЕРНЫЙ УРАЛ

Дорога на Северный Урал была действительно непростой. Пассажирские поезда шли долго, с частыми остановками, а в Новосибирске и в Свердловске надо было делать пересадки. На пересадках я обычно сидел с вещами и с маленьким Женей, а тётя Шура бегала по билетным кассам, оформляла какие-то документы и узнавала, где можно получить питание по дорожным карточкам. Их можно было отоваривать только на пересадках_ и за время езды суточные талоны этих карточек у нас скапливались.

В Новосибирске мы талоны отоварили в железнодорожной столовой, расположенной в стороне от вокзала. Мы ожидали получить какие-нибудь продукты, а вместо них нам выдали целое ведро кукурузной каши и полведра солёной горбуши.

По дороге в столовую меня поразила магазинная витрина, уставленная головками сыра, «колясками» колбасы, кусками ветчины, - она так напоминала довоенное время. Только приглядевшись, я понял, что всё это не настоящее, а искусно выполненные муляжи.

Много хлопот нам доставляла санитарная обработка, без которой не пускали на поезда. Приходилось идти в специальный санпропускник (привокзальную баню). Каждый снимал там одежду, через рукава и штанины надевал её на большое кольцо из толстой проволоки, сцеплял кольцо и сдавал его в «прожарку», где одежда обрабатывалась раскалённым воздухом для уничтожения возможных насекомых. После бани каждый получал кольцо со своей одеждой, которая была ещё горячей, пахнущей горелым. А некоторые пуговицы оказывались расплавленными.

В конце мая 44-го мы прибыли в город Краснотуринск. На маленьком вокзальчике нас встретил невысокий плечистый мужчина с крепкой лысой головой и крупным носом. Это был дядя Христьян - муж тёти Шуры. После объятий и приветствий, он погрузил наши вещи на телегу, помог взобраться нам. Сев рядом, он подобрал вожжи и лошадь тронулась. Ехали мы долго, через весь город. Остановились мы у одноэтажного деревянного барака, в котором нам предстояло жить.

Старинный посёлок Турьинские рудники только недавно был переименован в город Краснотуринск. Недалеко от старой части города рос

Новый город и сооружался Богословский алюминиевый завод (сокращённо БАЗ). Уже стояли первые кварталы Нового города, работала электростанция и действовал глинозёмный цех. Рабочие его были приметны – их лицо и одежду покрывала красная пыль глинозёма, из которого получают алюминий.

Вокруг Краснотуринска располагалось несколько лагерей ГУЛАГА. В одних - с колючей проволокой - отбывали «сроки» заключённые, в других лагерях (с такой же колючей проволокой) находились немцы-трудармейцы, у которых вообще не было «сроков». И заключённые, и трудармейцы были рабочей силой «БАЗстроя», строительной организации НКВД, возводившей промышленные объекты и жилые дома.

Дядя Христьян находился в одном таких из лагерей. В 44-м году трудармейцам, имевшим дефицитные специальности, стали делать некоторые поблажки. Дядя Христьян был таким специалистом (он работал вагранщиком в литейном цехе), и его расконвоировали - разрешили жить за пределами лагеря и позволили вызвать к себе семью. Но он был обязан приходить каждый день в «свой» лагерь, чтобы отметиться и получить дневную пайку хлеба.

Барак, в котором мы поселились, был рабочим общежитием, и вскорости тётя Шура стала здесь работать комендантом.

Теперь я меньше занимался с маленьким Женей – он подросток и у тёти Шуры было больше времени за ним присматривать. Главной моей обязанностью было доставать дрова для нашей плиты и корм для козы, которую завели для Жени. С дровами было проще – кругом были стройки и я притаскивал оттуда доски и разные обрезки и рубил их на дрова. Сложнее было с кормом для козы. Летом я пас её по канавам и обочинам дорог и иногда рвал для неё траву, а зимой подбирал остатки сена на грузовых платформах на соседней станции или там же надёргивал сено из сложенных в штабели сенных тюков. Мне так часто выговаривали за нехватку корма, что однажды я решился и унёс со станции целый тюк сена. Я не знаю, сколько весит такой тюк, возможно, это были какие-то мелкие тюки, но факт остаётся фактом – я, одиннадцатилетний мальчишка, взвалив на спину, приволок тюк домой. Объяснить это можно ещё и тем, что меня подстёгивал страх – я боялся, что появится стрелок с винтовкой, только что завернувший за угол.

И ещё одна обязанность была у меня – я продавал на базаре котелки и кастрюли, которые дядя Христьян делал тайком на работе. Вместе с литейщиком он отливал эту посуду из остатков дюралюминия в вагранке, а отливки обтачивал им знакомый токарь. Из дюралевого листа вырезались крышки, которые выбивались вручную. Потом я начищал их наждачной бумагой. Посуда получалась отличной. Блестящая, с толстой стенкой, она была лучше заводской, которой, кстати сказать, и в продаже-то не было.

Я ходил по базару с кастрюлями и котелками на руках. Покупали хорошо. Однажды небольшой котелок купил у меня важный лилипут из гастролирующего театра – для меня это было событием!

И была проблема с одеждой – она сильно обтрепалась и, к тому же, я из неё быстро вырастал. Но всё это как-то образовалось – дядя Хорст принёс откуда-то солдатские штаны, а с наступлением холодов – серую ватную телогрейку (такую носили заключённые). Но сложнее было с обувью. Мне сказали, ордера на обувь дают в управлении алюминиевого завода. Я запасся справкой, в которой стояло, что мои родители находятся в трудармии, и отправился в управление завода.

Когда через годы я прочитал у Маяковского: /Я тыкал мандат, прикрывая «Известия» и упирая на то что «ВЦИК»/, я вспомнил свои хождения с этой справкой. Я тоже «тыкал» справку, прикрывая «труд» и упирая на то, что «армия». И ордер мне дали и заветные ботинки я получил.

В Краснотуринске я впервые познакомился с буднями «лагерного города». Мимо нашего барака ежедневно проезжали на стройки колонны открытых грузовиков, в кузове которых сидели на полу заключённые (или трудармейцы - отличить их было трудно), а за деревянным щитком у кабины стояли солдаты с винтовками. Иногда проходила пешая колонна заключённых, окружённая вооружённой охраной с собаками. И приходилось видеть, как на помойках роятся «доходяги» – опухшие лагерники-дистрофики, среди которых были и заключённые, и трудармейцы. За территорию лагеря их выпускали, так как работать они не могли, а где их застанет смерть, охране было всё равно.

Обычным явлением для города были заборы с колючей проволокой и вышками по углам. Окружали они не только лагеря, но и строительные площадки, где работали заключённые и трудармейцы. За таким забором я

побывал в трудармейском лагере, в котором отмечался дядя Христьян – несколько раз он брал меня с собой. А через проходную меня пропускала хорошо его знавшая охрана.

Когда я пришёл туда впервые, было дневное время и лагерь был пустым. Меня поразили царившая в нём чистота и порядок. По обе стороны главной дорожки ровными рядами стояли аккуратно побелённые бараки. Побелены были и молодые деревца перед бараками и низкие оградки вокруг пустых весенних клумб. Все дорожки были чисто подметены, скамейки тоже были покрашены в белое. Это напоминало порядок больницы или какого-то необычного кладбища.

Ещё меня удивило, что пайка, которую получил дядя Христьян, была с довеском, припиленным к булке деревянным колышком, а в хлебобразаче, где мы получали хлеб, заготовленные пайки (с колышками и без них) лежали навалом на полу.

О том, что существуют какие-то «лагеря», в которых люди «сидят», я впервые услышал ещё в Тюхтете. К тётке Шуре приходил «на чаёк» бледный, аккуратно одетый в старенькую одежду мужчина. Женщины говорили, что он недавно вышел из какого-то «лагеря» и в Тюхтете находится в ссылке. Ещё говорили, что он сидел по какой-то «58-й статье». Я осмелился и спросил, за что он сидел. Он ответил:

- Ни за что.

Я ему, конечно, не поверил...

Я не переставал мечтать о школе. Первого сентября 1944 года в школах начались занятия. Я упросил тётку Шуру и пошёл в школу, в четвёртый класс. Недели через две дядя Христьян потребовал, чтобы я бросил учёбу, так как он «не собирается кормить дармоеда». И для меня всё пошло опять по кругу - Женья, дрова, коза, сено, котелки и кастрюли.

Так прошла зима. Весной 1945 года я, наконец, взбунтовался и сказал, что хочу учиться и уйду в детский дом. Наш барак собирались сносить, и тётке Шуре давали квартиру с удобствами и место в детском саду для Жени. Возможно, поэтому мне не очень-то и возражали - без меня могли уже обойтись.

Я взял свои документы и отправился в ГОРОНО (городской отдел народного образования) проситься в детский дом. Работавшие там женщины сказали, что помочь не могут - в городе нет детского дома. Я сказал, что никуда

не уйду и, если надо, буду здесь ночевать. Я устроился на деревянном крыльце здания ГОРОНО и просидел там целый день (со мной была интересная книга – сборник рассказов Павла Бажова «Малахитовая шкатулка»).

Вечером, видя моё упорство, мне сказали, что завтра куда-нибудь определят, а сейчас я должен идти домой.

На другой день одна из этих женщин повезла меня в интернат, который находился в городе Карпинск (недалеко от Краснотурина). Но интернат был переполнен и меня не приняли. Пришлось опять вернуться домой. На третий день мне дали направление в детский приёмник, купили билет и посадили в поезд, идущий до Серова.

* * *

Много лет спустя (в 1958 году) я был на Северном Урале в командировке. Жил я тогда в Караганде, работал в должности горного инженера-проектировщика, учился в вечернем институте, имел семью. Вместе со мной был молодой инженер-железнодорожник Анатолий Алексеев. Стояли морозы, а на нём был грубый, чёрный, с лохматым воротником полушубок, подаренный ему каким-то деревенским родственником. В этом полушубке рослый, тёмнолицый и бровастый Алексеев был похож на опереточного разбойника.

Мы с ним проехали несколько городов, были в Свердловске, в Нижнем Тагиле. В Карпинске я рассказал ему про тётю Шуру. И мы решили найти её. На рейсовом автобусе отправились в соседний Краснотурина. С большим трудом, через отдел кадров алюминиевого завода, мы всё-таки отыскивали тётю Шуру.

Жила она в однокомнатной квартирке в центре Нового города. Мы застали её вместе с Женей, которому уже исполнилось 16 лет. Похудевшая и постаревшая тётя Шура, как мне показалось, не столько обрадовалась, сколько удивилась моему приходу. Она рассказала, что вскоре после моего ухода дядя Христьян бросил её и ушёл к молодой. Она сошлась с каким-то узбеком, который увёз их в Среднюю Азию. Она не смогла вынести тамошний климат, ребёнок, который там родился, умер и её еле спасли. Вместе с Женей она вернулась в Краснотурина. Устроилась она мотористкой в хорошо оплачиваемый, но вредный для здоровья глинозёмный цех. Ей дали квартирку, где они живут до сих пор.

Женя оказался незнакомым для меня подростком, что-то отрывисто бросавший матери и, почему-то, сквозь зубы разговаривавший с нами. С трудом в нём угадывался тот симпатичный мальчик, которого я когда-то нянчил.

Я рассказал ей о себе, но тётя Шура слушала меня с недоверием. В разговоре она несколько раз повторяла, что все эти годы думала, что я пошёл в уголовники. При этом она опасливо поглядывала на мрачноватого Алексева.

Уже провожая нас, она сказала, что и сейчас не верит, что я не уголовник. Переубедить её мы так не смогли...

7. ДЕТСКИЙ ПРИЁМНИК

До Серова я ехал несколько часов. Вагон был переполнен, приходилось стоять и рядом со мной стоял пацан, ехавший куда-то в сторону Нижнего Тагила. Мы разговорились, но началась проверка документов и пацана задержали – он предъявил какую-то справку с протёртыми до дыр углами и со свежей датой.

- Дата подделана, - сказал солдат-стрелок и передал мальчишку другому стрелку. Потом он просмотрел мои бумаги и вдруг сказал:

- Ты из Тюхтета? Я тоже оттуда. Где ты там жил? Это недалеко от наших, ты должен знать моего Вовку!

Сына его я не вспомнил, но не решился в этом признаться и как мог отвечал на его вопросы, что-то рассказывал про Тюхтет, в котором он, видно, давно не был. Довольный, что я напомнил ему родные места, он похлопал меня по плечу и пошёл по вагону дальше.

Наконец наш поезд прибыл в Серов. У меня было пятнадцать рублей, которые дала мне тётя Шура. Рядом с вокзалом находился кинотеатр и я решил сначала сходить в кино. Там я впервые посмотрел американский фильм – цветной боевик с голубым океаном, зелёными пальмами и тайфуном (кажется, фильм назывался «Ураган»). На привокзальном базарчике я купил шаньгу и чекушку молока. Шаньгу я съел тут же возле прилавка, запил её молоком и, вернув пустую чекушку, отправился искать детприёмник.

Нашёл я его быстро – он находился недалеко от вокзала.

Подойдя к нему, я увидел высокий кирпичный забор с колючей проволокой поверху, глухие ворота и проходную, в которой сидел охранник.

Посмотрев моё направление, охранник пропустил меня через проходную. Я оказался в небольшом дворе, в глубине которого находилось серое здание. У его входа стояла группа наголо остриженных мальчишек в серых халатах. Увидев, что я пришёл без милиционера, один из них сказал:

- Идиот, сам пришёл!

Это заведение официально называлось «Детский приёмник-распределитель при железнодорожном отделении милиции станции Надеждинск» (так раньше назывался город Серов). Сюда собирали беспризорников, которых милиция снимала с поездов и вылавливала на вокзалах. Многие из них были бывалыми бродяжками, умевшими и

попрошайничать, и воровать. Документов ни у кого не было, у каждого была придуманная семейная история, многие называли вымышленные фамилии. Тот, кто постарше, старался снизить свой возраст, так как сюда принимали только до 14-ти лет. Более старших увозили в ФЗО (школы фабрично-заводского обучения) или передавали на какое-нибудь производство. Легенды, придуманные беспризорниками, здесь вынуждены были принимать на веру и только их возраст определяла специальная медицинская комиссия.

Я был крупнее сверстников, и, несмотря на то, что у меня были все документы и мне было только 12 лет, меня пытались отправить учеником на обувную фабрику. Но я сказал, что пришёл сюда сам, что хочу учиться в школе, и, если меня не отправят в детдом, я сбегу. После этого от меня отстали.

Беспризорники были самых разных национальностей, и среди них, наверняка, были немцы. Но кто же в этом сознается? Только про меня было известно, что я немец. И меня невзлюбила одна из надзирательниц, крупная женщина с очень сильным косоглазием. Когда на вечерней поверке она кого-нибудь отчитывала, уставившись на него своим глазом, на другом конце строя поёживался пацан, на которого смотрел другой её глаз. Она постоянно цеплялась ко мне, стремилась как-то задеть. Она могла громко сказать:

- Ну, ты, фриц, иди сюда!

или:

-Эй, немчонок, встань в строй!

И пока я был в детприёмнике, она продолжала меня травить. И, как я понял из её намёков, попытка отправить меня на обувную фабрику была её же затеей.

Другие надзирательницы были обыкновенными женщинами и, понимая, что я не шпана и не уголовник, относились ко мне хорошо - расспрашивали откуда я, где мои родители. Они разрешали мне выходить за ворота и брать книги в городской библиотеке, которая обслуживала и детприёмник. И я проводил часы за чтением книг.

Кроме чтения, заняться здесь было нечем и ребята целый день слонялись без дела – школьных занятий не было, играть было негде из-за тесноты. Надзирательницы нами не занимались – их задачей было следить за порядком.

Только иногда они разучивали с нами военные песни и марши, постоянно звучавшие по репродуктору в эти последние дни войны.

Каждые десять дней нас водили в городскую баню и для нас это было большим событием. Перед походом в баню мы снимали серые халаты и одевали, так называемые, «американские подарки». Эта заграничная детская одежда имела яркую и пёструю окраску, была диковинных фасонов с разными замочками и блестящими пуговицами. Многим она была не по размеру – кто-то с трудом влезал в красный вельветовый комбинезончик, один из младших запахивал на себе оранжевую кофту, подпоясываясь шнурком, кто-то подворачивал штаны в крупную клетку. А девочки специально искали что-нибудь «понаряднее».

И вот толпа серолицых, наголо остриженных мальчишек и девчонок в разноцветной иностранной одежде нестройно вышагивала посреди улицы, громко распевая военные песни. Наша колонна привлекала всеобщее внимание. Смеясь и что-то выкрикивая, за нами двигались городские мальчишки. Улыбаясь, останавливались прохожие. Произведённым эффектом были довольны наши надзирательницы – «заграничное» одеяние должно было демонстрировать наше благосостояние, а громкие песни – высокий уровень их «воспитательной» работы.

Прошёл апрель, наступил май. В День Победы, 9 мая, все мы радовались окончанию войны. Теперь всё изменится к лучшему и я мечтал, что скоро встречу с родителями и мы опять будем вместе...

Время тянулось, а меня никуда не направляли.

Наконец, в двадцатых числах мая одна из надзирательниц повезла меня и ещё одного мальчишку в Кленовской детский дом, который находился на другом краю Свердловской области.

8. «ИСПРАВДОМ»

Детский дом, куда нас привезли, во время войны был эвакуирован из-под Киева. Там был исправительным детским домом и здесь на Урале он продолжал быть тем же (местные называли его «исправдом»). Здесь находились малолетние (до 14 лет) преступники, совершившие самые разные преступления (воровство, участие в грабежах и т. п.).

Детдому выделили большую часть школьного здания. Помещение не было приспособлено для содержания правонарушителей, главное, не было изолированной территории – в этом же здании действовала местная школа. Пока шла война, с этим приходилось мириться, но к концу войны исправительный детский дом решили ликвидировать и на его месте создать обычный детский дом. Предстояло вывезти около сотни криминальных малолеток, постепенно заменяя их обычными детьми. И первой партией таких «обычных» детей оказались мы двое из Серовского детприёмника.

Вот так и получилось, что я снова оказался во вновь организованном детском доме (в первый раз это было в Тюхтете). Как и в Тюхтетском детдоме, в котором много было от бывшей «школы глухонемых», в новом Кленовском детском доме практически всё осталось от прежнего «исправдома».

Остались не только прежние воспитательницы, но и прежние их подопечные, которых только собирались вывозить.

Характерный для той обстановки случай – перед нашим приездом уволили недавно назначенного директора нового детдома, бывшего директора «исправдома». Он не успел отвыкнуть от прежних методов воспитания и на новом месте продолжал заниматься рукоприкладством. Особенно нравилось ему больно бить мальчишек пальцами по наголо остриженным головам.

Детский дом располагался на краю села Кленовское, на несколько километров растянувшегося вдоль тракта. Село было большим - тогда в нём было четыре колхоза. Рядом с селом проходила железнодорожная магистраль Казань-Свердловск, недалеко от села находился разъезд Кленовской.

Двухэтажное, с широкими окнами здание школы, в котором размещался детдом, стояло на самом берегу реки Пут, недалеко от места её впадения в реку Бисерть. Напротив здания на реке Пут стояла плотина с мельницей и небольшой электростанцией.

Метровые стены первого этажа здания были сложены из естественного камня – раньше здесь был кожевенный завод (под полом мы находили каналы, ведущие в сторону реки). Второй этаж был надстроен позднее и представлял собой неоштукатуренный деревянный сруб тёмнозолотистого цвета.

Глухие перегородки в коридорах первого и второго этажа отделяли детдом от школьных помещений. Двор был отделён от школьного длинным забором. В дальнем углу двора стояло красивое двухэтажное здание, за которым виднелись большие деревья старого сада. Здание называли «господским домом» - когда-то в нём жил управляющий заводом. Теперь там жил директор детдома и некоторые воспитатели. Там же был и медпункт, бухгалтерия и ещё какие-то службы. В другом углу двора находилась конюшня с сеновалом.

Когда мы приехали, детский дом показался нам пустым – в коридорах мы встретили только нескольких младших ребят, да во дворе играла небольшая их группа. Старших ребят я увидел в спальне, куда нас привела одна из воспитательниц. Я обратил внимание, что это не та сероликая масса беспризорников, какую я видел в детприёмнике. Это были крепкие ребята тринадцати – пятнадцати лет и чувствовалось, что каждый из них знает себе цену. Они сидели вокруг стола, на котором горкой лежала печёная картошка. Невысокий коренастый парень пригласил меня к столу, предложил картошки. Потом я узнал, это был Кипка (Киприян) Топорищев, главный здесь заводила. Меня стали спрашивать, кто я, откуда, где бывал. Я проговорился, что читал интересные книги и знаю новые военные песни. Они проявили к этому неожиданный интерес, даже попросили напеть одну из песен. Я пообещал разучить с ними эти песни и рассказать им самые интересные книги. Сами они книг не читали – некоторые из них с трудом могли читать и писать.

Я знал много приключенческих книг и рассказывать их пришлось в течение нескольких месяцев. Рассказывал я после отбоя, время от времени спрашивая в темноте:

- Кто не спит?

Если отвечавших было мало, я прерывал свой рассказ до следующего вечера.

В первые же дни мы разучили несколько песен. И когда отправлялись куда-нибудь строем (например, на дальний огород с лопатами на плечах), мы

сами, без приказа воспитателей, запевали одну из этих песен и вся колонна, дружно шагая, подхватывала её.

Эти криминальные ребята не были похожи на тех воров и грабителей, каких я себе представлял. Обычные пацаны! Но я удивился, узнав, что небольшого роста и простоватый на вид мальчишка был участником банды, грабившей квартиры. Он через форточку пролезал в квартиры и изнутри открывал двери.

Но не все здесь были уголовниками. Одного из мальчишек привезли в «исправдом» за побег с производства. Его из детприёмника направили на завод, где поставили на такую тяжёлую работу, что он не выдержал и сбежал. Его поймали и ему грозила колония, но медицинская комиссия установила, что ему нет четырнадцати лет и его привезли сюда в «исправдом».

Несмотря на достаточно свободный режим, ребята эти, что удивительно, не разбегались. Пребывание здесь их, видимо, устраивало – у них был кров над головой, их как-никак кормили и здесь, в сельской местности, они всегда могли подкормиться.

Но были и такие, которые весной сбежали, лето беспризорничали, а осенью возвращались. Схема таких побегов была проста. На соседнем разъезде пацан подсаживался в один из воинских эшелонов, которые во время войны шли непрерывно на запад, на фронт, а после войны – на восток, на войну с японцами. Солдаты, давно не видевшие своих семей, с охотой подсаживали мальчишку, просившего подвести до какой-нибудь станции. Ехать в солдатских теплушках было безопасно, да там ещё и кормили. На какой-нибудь станции пацан сходил и начиналась вольная жизнь.

Осенью, когда наступали холода, беглец являлся в милицию, говорил, что сбежал из Кленовского исправительного детдома. Его, конечно, возвращали. Следующей весной он, при желании, мог всё это повторить.

Были случаи, когда сбежавшие не возвращались. В милиции они называли другую фамилию, рассказывали историю пожалостливей (обязательно с эвакуацией и с бомбёжкой эшелона). Их направляли в ближайший детприёмник, а оттуда - в обычный детский дом. Но, побывав в другом детдоме, все они всегда возвращались сюда.

Один из таких вернувшихся попал в детский дом, который находился в большом городе. Режим там был строгий и было очень голодно. А подкормится было негде – там не было, как здесь, ни огородов, ни реки, ни леса.

С этими криминальными ребятами у меня сложились неплохие отношения.

- Ты будешь прокурором, - говорили они и у них это была самая высокая похвала.

От них мы многому научились, а, главное, искусству добывать пропитание. Первый такой урок я получил сразу же по приезде. Был май, было голодно - ни в огородах, ни в лесу ничего ещё не выросло. Но у ребят всегда была печёная картошка. И мне показали, как её добывали.

В пустой комнате первого этажа «господского дома» была свалена картошка, которую привез один из местных колхозов. Для вентиляции окно в комнату открыли и редко забили досками. Картошку свалили подальше от окна, чтобы нельзя было достать её руками.

Ребята показали мне длинное удилице, на конце которого был привязан большой гвоздь. Удилище просовывали между досок в окне и ударяли им по картофельной куче. На гвоздь нанизывалось несколько картошин. Удилище подтягивали, картошку снимали. И так несколько раз. Картошку пекли на разведённом в саду костре.

Таких ухищрений было у них множество. Учебный год обычно заканчивался в конце мая, но в местной школе, где детдомовские и деревенские занимались вместе, этой зимой был месячный карантин, поэтому школьные занятия продлили ещё на месяц.

Один из ребят, ученик четвёртого класса, предложил мне пойти вместе с ним на занятия. Делать мне было нечего, и я решил побывать на уроке. Шло повторение пройденного. Урок мне показался интересным, и я остался на следующий. Я стал регулярно ходить на занятия.

Старенькая учительница Зоя Бонифатьевна обратила внимание на мой интерес к учёбе (переростки-детдомовцы вообще не хотели учиться). Она стала мне помогать, давать задания по всему материалу.

Предстояли экзамены за четвёртый класс, первые экзамены в моей жизни. Я стал усиленно готовиться. Чтобы мне не мешали, я уходил в сад, забирался

высоко на развилку старого дерева и там занимался. И эти экзамены я сдал, хотя проучился всего один месяц. Раньше я уже потерял один учебный год (когда пас свиней в Сибири), а этот год мне удалось спасти.

В конце года бывших воспитанников «исправдома» стали интенсивно вывозить и партиями привозить новичков. У нас уже был новый директор и сменилось большинство воспитателей. И к началу 46-го года детский дом перестал быть «исправительным». Теперь уже фактически.

9. ДЕТДОМОВСКИЕ ВОСПИТАТЕЛИ

Наши воспитатели работали в очень непростых условиях, особенно в первые годы существования детского дома.

У нас были дети с разными, часто с исковерканными судьбами, с разным уровнем развития. Были бывшие беспризорники, знакомые с дном жизни. Некоторые из них не учились в школе и были почти безграмотные. И были дети из интеллигентных, чаще всего, репрессированных семей. И к тем, и к другим требовался очень разный подход.

Приходилось учитывать, что дети всегда голодные и что в первую очередь их интересует всё, что связано с едой. Были трудности и с учёбой – в детдоме было много переростков, не очень желавших учиться, нехватало учебников (потрёпанных, довоенных), не было тетрадей, писали мы на разных листках. Плохо было с литературой – своей библиотеки у нас не было, а в школьной были старые, довоенные книги. В детдоме отсутствовал спортивный зал и практически не было музыкальных инструментов.

Первыми у нас были воспитательницы из бывшего «исправдома». Эти мрачные женщины знали, что их скоро заменят, и у нас они просто отбывали время. С нами они общались мало и от них мы чаще всего слышали команды, вроде:

- На обед строиться!
- На вечернюю линейку становись!
- Отбой! Всем спать!

И так далее...

Через несколько месяцев на смену им пришли новые воспитательницы, большей частью молодые женщины. Эти обращались с нами просто и только за это они казались нам почти домашними.

Тогда же появились воспитатели мужчины. Бывшие фронтовики, они не очень-то с нами сюсюкали, что нам, мальчишкам, очень нравилось.

В конце 1945 года к нам приехал Владимир Петрович, молодой демобилизованный офицер. Стройный брюнет, с небольшими усиками, он сразу же покорила нас военной выправкой и неутомимой энергией. Любые задачи он решал с чисто фронтовой смекалкой.

Понадобилось поставить ограду вокруг нашей территории. Жерди для неё мы заготовили на лесной делянке, находившейся на берегу реки Пут. Заготовить-то мы их заготовили, а привезти их было не на чем. Владимир Петрович собрал группу ребят постарше, прошёл с нами до делянки, где лежали заготовленные жерди. Из этих жердей ивовыми прутьями мы каждому из нас связали по узкому плоту. Плоты спустили на воду и каждый, раздевшись, в одних трусах, оседлал свой плот.

Отталкиваясь длинными шестами, мы поплыли вниз по реке в сторону детдома. Владимир Петрович следовал по берегу, страхуя нас и подавая команды.

Некоторые плоты переворачивались, но ребята забирались на них снова и плавание продолжалось. До детдома было недалеко - несколько километров и река местами была глубокой, но наше плавание закончилось благополучно.

За это рискованное мероприятие Владимиру Петровичу очень попало на педсовете, но мы были в восторге.

Другое опасное приключение тоже было связано с Владимиром Петровичем. После сильных дождей снесло деревянную плотину, стоявшую на реке Пут. Она стояла напротив нашего здания, и я, случайно, видел, как её сносило – вода прорвала один её край и плотина стала разворачиваться, как открывается дверь. По бурной воде поплыли брёвна, на некоторых спасались мельничные крысы. Было видно, как хлынувшая вода переполнила реку Бисерт, куда впадала Пут, и на короткое время течение Бисерти пошло вспять. Потом вода схлынула, и часть вынесенных брёвен осталась на берегах. Одно из брёвен оказалось недалеко от детдома и наши решили его забрать на дрова для кухни. И приходилось спешить, пока его не взяли другие. Транспорта у нас, конечно, не было и за решение задачи взялся Владимир Петрович.

Он по росту выстроил нас по обе стороны бревна, длина которого была не менее пяти-шести метров. Потом он сказал, чтобы каждый взялся за бревно снизу. Мы стояли так тесно, что наши руки касались. По его команде мы дружно подняли бревно, подставили под него плечи и, как муравьи, понесли его в сторону детдома. Шагать мы могли только в ногу и, чтобы не сбиться с шага, мы завели озорную песню:

Из-за леса, леса тёмного

Привезли его огромного.
Привезли его на семерых волах,
Он, бедняга, был закован в кандалах.

И так далее... В этой песне были и не совсем пристойные слова, но перепуганные воспитательницы, встретившие нас возле детдома, не решились остановить наше пение, опасаясь, что мы собьёмся с шага и тяжёлое бревно нас покалечит. Хотя для каждого из нас оно было не таким уж и тяжёлым – во-первых, древесина была очень сухой, а, во-вторых, нас было не менее 35-40 человек и каждому доставался только небольшой его отрезок. Но, если бы один из нас упал, завалился бы весь строй и бревно, действительно, могло наделать бед.

Но всё обошлось – мы дошагали до нашего двора, по команде перевели бревно с плеч на руки и дружно опустили его на землю.

За эту историю Владимиру Петровичу попало опять, а у ребят она стала настоящей легендой.

В детдоме он пробыл всего год – с его энергией у нас ему было тесно. А возможно, что руководство детдома устало от его активности...

Другой наш воспитатель, Василий Сидорович Уткин, пришёл в детдом в 1946 году. Артиллерийский офицер, он всю войну прослужил на Дальнем Востоке. Когда началась война с японцами, при переправе через Амур ему снарядом раздробило челюсть. Он долго лечился и к нам он приехал прямо из госпиталя, где ему по кусочкам восстанавливали лицо. Лет ему было около сорока, и нам он казался совсем пожилым.

Какое он имел образование, я не знаю, но он любил стихи и даже сам сочинял. Он показал мне поэму, написанную им ещё в армии, про любовные похождения молодого лейтенанта, как он обманывал ревнивого мужа, как, убегая от него, прыгал со второго этажа и т. д. Поэма, похоже, была автобиографичной, но на меня она не произвела впечатление.

От него я впервые услышал стихи Сергея Есенина, о существовании которого даже не знал. Мы заготавливали в лесу дрова и во время перерыва он отвёл меня за деревья и показал небольшую книжку в твёрдом переплёте:

- Это Сергей Есенин, он запрещён, - сказал он, оглядываясь, - Вот послушай.

И раскрыл книжку:

Ты жива ещё, моя старушка?
Жив и я. Привет, тебе, привет!
Пусть струится над твоей избушкой
Тот вечерний несказанный свет.

- Какие стихи! – сказал он.

Он был из здешних мест, и многое из того, что мы знали о сельской жизни, об окрестных местах, мы узнавали от него.

Когда я готовился поступать в техникум, Василий Сидорович сказал:

- Я дал тебе хорошую характеристику, с ней тебя обязательно примут.

Эту характеристику я увидел перед самым отъездом, когда мне вручили мои документы. Среди похвальных эпитетов («пользуется уважением у сверстников», «прилежен в учёбе», «общественно активен» и т. д.), в ней стояло:

- Любит спорить и в спорах стремится победить, особенно любит спорить со старшими.

- Трудолюбив, но старается найти ряд объективных причин, чтобы не делать порученную ему работу.

Если с первым я ещё мог бы согласиться (хотя не скажешь, что оно очень уж положительное), то из второго нельзя было понять – трудолюбив я всё-таки или нет. Когда я спросил, что он имел в виду, когда писал про «объективные причины», он напомнил мне случай с пилой.

Его я, конечно, помнил. Мы заготавливали в лесу дрова, и у нас сломалась лучковая пила. Василий Сидорович направил меня за пилой в соседнюю деревню к своему знакомому. До деревни было недалеко и, чтобы не возвращаться порожним, я стал допытываться – брать ли другую пилу, если у его знакомого не будет лучковой, к кому мне обращаться, если знакомого не будет дома. Отвечая на все мои «если», Василий Сидорович стал закипать, видимо, считая, что я придумываю причины не ходить за пилой. Я же, выяснив, что считал нужным, сходил в деревню, принёс пилу и мы работали дальше.

Он всегда стремился к «высокому слогу» и слово «трудолюбивый» показалось ему уж очень простым. Вспомнив историю с пилой, он дописал красивый оборот – «ряд объективных причин». Над полученным смыслом он, видимо, не задумывался...

Из моей характеристики, которую я получил при выходе из Кленовского детского дома:

**«Характеристика
на воспитанника Кленовского детдома
Риделя Роберта.**

Год рождения 1932 4ноября. Прибыл в детдом 25 мая 1945 года по путёвке Облоно.

Родителей имеет, но не знает их адреса, уроженец с Поволжья – немец.

Вежлив со старшими, учится охотно и хорошо. Закончил 7 классов Кленовской Н.С.Ш. Имеет авторитет среди детей.

Поручения старших выполняет, но предварительно старается найти ряд объективных причин, чтобы помешало выполнить поручения. Любит поговорить о слабых сторонах старших.

Любит музыку, разбирается в нотах, играет ряд вещей на баяне, хроматической гармонике, начинает играть на гитаре, балалайке.

Много читает художественной литературы. Живо и энергично участвует в играх, играет в шахматы, домино, волейбол и другие игры.

Не уединяется, почти всегда находится среди ребят, с задором участвует в спорах, любит поговорить, поспорить, доказать и почти всегда выходит победителем.

Ошибки честно признаёт и быстро исправляется. Трудолюбив и находчив. Хорошо работает в столярной мастерской, самостоятельно делает табуретки, стулья.

Имеет организаторские способности. Председатель детсовета детдома, с работой справляется удовлетворительно.

Интересуется политическими событиями. Читает газеты, журналы, с непонятными вопросами обращается за разъяснениями к старшим.

.....

10/V11- 1948 года.

Воспитатель

/В. С. Уткин/

Директор д/дома

/ С. Р. Белобородов/»

И всё-таки я запомнил Василия Сидоровича как доброго и сильного человека, не очень грамотного, но на свой лад стремящегося к прекрасному, много сделавшего для того, чтобы мы стали нормальными людьми.



**Кленовский детский дом.
Я (в центре) с Володиёв Уляновым
и воспитательницей Надеждой Степановной.
Фото 1947 г.**

Среди наших воспитателей всегда было не более одного-двух мужчин, основную их часть составляли женщины. Все они были городскими, в местной деревенской жизни им не находилось места и, к тому же, многие из них не имели семей. И в детдоме они, можно сказать, дневали и ночевали. Их трудовой день продолжался с утра до позднего вечера: персонала не хватало и они работали на двух-трёх ставках, да и по ночам ещё дежурили.

Много душевных сил отдали эти женщины детдомовским детям и всех их я вспоминаю с благодарностью. Особенно тёплые воспоминания у меня сохранились о Нине Ивановне Пятковой, воспитательнице нашей группы.

Эта невысокая женщина, которой было около тридцати, с ровным спокойным характером. Она никогда не повышала на нас голос. К ней подходили с любым вопросом – она выслушает, что-то посоветует, может пожалеть, а может и отчитать. В её отношении к нам было что-то материнское и мы это чувствовали.

Помню, как, немного дурачась, я спросил:

- Нина Ивановна, а что такое - голова болит? Может, она у меня болит, а я не знаю?

На что она ответила спокойно:

- Заболит – узнаешь.

В каком-то отношении «воспитателями» были и рабочие из детдомовского персонала. Они были местными, от них мы узнавали деревенские новости, они нас учили крестьянской работе. Настоящими авторитетами были для нас два брата, два рослых красавца – сапожник дядя Толя и конюх дядя Митя. Дядя Толя, младший из братьев, ещё мальчишкой потерял ногу на железной дороге и ходил с деревянным костылём. Дядя Митя был на фронте и только недавно демобилизовался.

На старинной швейной машинке дядя Толя шил для нас тапочки из конвейерной ленты и автомобильных покрышек. Когда мы приходили в его маленькую мастерскую, он оживлялся, рассказывал какую-нибудь историю, которых знал множество, вместе с нами хохотал над своими, далеко не детскими, анекдотами. Часто рассказывал про очередную свою драку, о том как его хотели избить, как всегда, из-за любовных похождения, и он ловко отбил себя своим костылём. При этом он посмеивался – какие же это мы неумехи в таких делах...

Дядя Митя, человек семейный, был тоже завзятым ловеласом. Он хвастался своими победами, в том числе, и среди женщин нашего детдома... Он знал множество солдатских байек, часто их рассказывал. От него, например, я узнал, что легендарный маршал Жуков был очень жесток и по его приказам расстреливали своих же солдат и офицеров. У дяди Мити было много боевых

наград, но он не раз повторял: «...на фронте больше наград получал не тот, кто воевал, а кто был поближе к штабу».

Спокойное и вполне доброе отношение к нам воспитателей, относительно свободный режим, да ещё окружавшая нас уральская природа, создали в детдоме обстановку, близкую к домашней. И благодаря ей, как я думаю, у нас не было случаев злостного хулиганства, прекратились побеги ребят.

Для всех нас (а для меня уж точно) Кленовской детский дом стал настоящим родным домом.

10. РЕЦИДИВИСТ И ГАРМОШКА

Однажды у нас появился штатный баянист – Валерий Иванович, низкорослый горбун с бледным рябоватым лицом. Он был профессиональным музыкантом - своими длинными, как у всех горбунов, пальцами он виртуозно играл на своём концертном баяне.

Деревенские пацаны рассказывали, что он подселился к чудаковатой старой деве, о которой по деревне ходили разные анекдоты. Ещё говорили, что он играет на деревенских свадьбах и этим хорошо зарабатывает. В детдоме он появлялся нечасто – на репетициях нашей самодеятельности, да на праздничных утренниках.

За хорошие показатели по успеваемости наш детский дом премировали хроматической гармошкой – хромкой, как все говорили. Для сохранности её убрали в склад. Узнав о гармошке, Валерий Иванович настоял, чтобы её передали нам, и сам принёс её в нашу спальню. Мы сразу же выстроились в очередь на ней попиликать.

Через несколько дней он пришёл к нам в спальню и, взяв гармошку, сыграл на ней простую частушечную мелодию (что-то вроде - та-та-ти'-та, та-та-ти`-та, та-та-ти`-та, та`-та-та). Потом сказал:

- Кто сможет повторить?

Повторить попытались многие. У меня получилось лучше, и он предложил мне дальше потренироваться и пообещал прийти ещё.

На другой день Валерий Иванович пришёл с баяном. Я показал, как у меня получается. Послушав, он сказал:

- Играй, не останавливайся.

Мою незамысловатую игру он стал сопровождать сложными вариациями на своём баяне. Неожиданно зазвучала красивая музыка, на звуки которой сбежались ребята, пришли воспитатели. Всех поразило именно моё участие в создании этой музыки – мы оба растягивали меха, оба играли, а кто что играл, они не разбирались. С этого момента я для всех в детдоме стал гармонистом.

Я разучил эту частушку, потом стал подбирать мелодии, многие из которых я знал ещё с довоенного времени. Дело в том, что в Энгельсе, ещё до переезда в наш недостроенный дом, мы жили на первом этаже детской больницы, где завхозом работал мой отец. Окна нашей квартиры выходили на

танцплощадку городского сада, где по вечерам постоянно звучали вальсы, танго, фокстроты. Иногда там ставили щиты с текстами новых песен и их разучивала вся танцплощадка. Мне было всего пять или шесть лет, но многие мелодии остались в моей памяти.

Со временем я играл уже бегло, наигрывал песни, танцы, деревенские наигрыши, быструю «улочную». Девчонки часто ходили за мной:

- Робка, поиграй!

Если это было летом, я выходил во двор, растягивал меха и девчонки начинали танцы, запевали песни. Однажды мы с мальчишками забрались на крышу нашего здания и под гармошку горланили частушки с довольно «солёным» текстом. Бывшие во дворе воспитательницы не могли разобрать слов, но, слыша наше пение, одобрительно нам улыбались...

Из села приходили девушки, просили поиграть у них на «пяточке». Играть в селе мне случалось не только летом, но и зимой. Вспоминается один из морозных дней – парни и девушки, взявшись за руки и перегородив улицу, идут по селу, громко распевая частушки. Я иду в середине этого ряда и в тонких варежках, чтобы не обморозить пальцы, лихо играю на гармошке разухабистую «улочную».

По «Самоучителю для хроматической гармонике» я познакомился с нотами и даже разучил несколько мелодий. Но дальше меня не хватило – мне было проще играть «на слух». Пробовал я играть на кустарных гармошках «русского строя» и на трофейных гармошках «немецкого строя». У таких гармошек высота звука зависит от направления движения мехов.

Играть на них сложнее, но звучание красивее, чем у моей «казённой» хромки.

Валерий Иванович организовал у нас «шумовой оркестр», куда вошёл его баян, моя хромка, гитара, балалайка, огромная балалайка-контрабас, угол которой упирался в пол, кастаньеты, трензель (металлический треугольник) и школьный барабан. Мы разучили несколько мелодий, девчонки подготовили русский перепляс с чечёткой, сочинили бойкие частушки. В детдом привезли двух беленьких сестёр, учениц балетной школы, и в нашем «ансамбле» появился балетный номер. Гвоздём нашей программы было сольное

выступление Валерия Ивановича – его виртуозная игра завораживала слушателей.



**С баяном.
Баян я взял для "солидности", а играл я на хромке.
Фото 1947 г.**

С нашими концертами мы ездили по окрестным деревням. Репертуар у нас был незамысловатый, но в деревнях, где артистов никогда не было, нашими выступлениями были очень довольны. Платили ли за наши концерты, не знаю, но нас кормили и это было главным.

Создание «шумового оркестра» подняло авторитет Валерия Ивановича и его назначили подменным воспитателем - он замещал воспитателей в их выходные дни и во время отпусков. Он неплохо ладил с ребятами, был всегда дружелюбен. Но мы знали, что он мог быть и строгим, даже жёстким.

Было лето, уже заканчивались каникулы. Я находился во дворе, когда кто-то из пацанов срочно позвал меня в спальню. Там в окружении ребят стоял Валерий Иванович, бледный и весь какой-то взъерошенный. Он сказал, что ему

нужно бежать, что здесь ему грозит тюрьма. Он просил достать ему булку хлеба и почему-то простыню.

Он рассказал, что произошло. Прошлой зимой, проезжая с очередным нашим директором через какую-то деревню, он стащил бочку керосина – просто перевалил её со стоявших возле одной избы саней в свои сани. Керосин нужен был детдому, как говорится, позарез – после смыва плотины электростанция не работала и вечерами мы сидели в темноте. С появлением именно этого керосина у нас зажглись керосиновые лампы.

Горбун ругался, что слабак директор сразу же во всём сознался и выдал его. Тут же он рассказал о себе.

Вырос он в Свердловске, родители его были уважаемые в городе люди. Он закончил музыкальную школу по классу баяна. Потом он стал уголовником, несколько раз был осуждён. В лагерях ему было неплохо - на тяжёлых работах он, как инвалид, не работал, а с лагерным начальством он дружил, играя на их пьянках. У нас он отсиживался после неудачной воровской операции.

Ребята достали ему хлеба и простыню, он попрощался и исчез.

Через полгода он снова появился и сразу прошёл в нашу спальню. Он рассказал, что, убегая в прошлый раз от ареста, сел в поезд, идущий в сторону Москвы. В поезде он сразу же нашел таких же дружков-уголовников.

- Поезд идет медленно – чемоданы летят, поезд идёт быстро – пассажиры летят, - рассказывал он. - Так мы работали.

Так он добрался до Москвы. В электричке его, как он сам сказал, по глупости задержали – он ехал без билета и при нём был где-то украденный аккордеон. На суде ему припомнили и бочку с керосином. Его осудили, дали срок. В лагере ему, как всегда, было неплохо. Через несколько месяцев прошла амнистия для инвалидов и его выпустили.

Рассказав о себе и расспросив про наше житьё-бытьё, он распрощался с нами и ушёл. Ни с кем из сотрудников детдома он не поговорил – они шарахались от него, как от чумного. Видимо, очень уж большой был скандал из-за того, что целый год с детьми работал рецидивист, профессиональный уголовник.

Да он и не искал с ними встречи. Ему важней было поговорить с ребятами, с которыми он единственный раз в жизни чувствовал себя не уголовником, а просто человеком, учившим хорошему детдомовских мальчишек.

11. СЕНОКОСЫ

В первое лето утром, когда мы ещё спали, нас разбудил громкий мужской голос:

- Кто поедет на сенокос?

Ещё не проснувшись до конца, я подумал – там же кормить будут - и вызвался ехать. Ещё согласился ехать только Генка Логинов.

Кроме нас с Генкой, на заготовку сена для наших лошадей поехали взрослые из персонала – две девушки уборщицы, парень рабочий и завхоз Василий Иванович, крепкий старик с чёрной с проседью бородой.

На другой день мы погрузились на телегу, на которой уже лежали какие-то мешки и косы и, после долгой езды по лесным дорогам, прибыли на выделенную нам полянку.

Приехавшие с нами взрослые были деревенскими, для них заготовка сена было обычным делом, а для нас с Генкой всё здесь было впервые.

Сначала построили два шалаша, один из них для девушек. Выбрали место для косьбы и отдельно участок для нас с Генкой. Нам с ним вручили детские косы с коротким лезвием, показали, как их держать, как косить так, чтобы не оставалось позорных «хвостов» (пучков несрезанной травы).

После десятиминутного обучения мы с Генкой приступили к работе.

В первые дни мы с ним очень уставали. Наши прокосы были короче, чем у взрослых, но мы всё равно отставали от них – не хватало ни сил, ни умения, да и наши косы были поменьше. На последних метрах прокоса я думал, что упаду и больше не встану. С Генкой было то же самое.

Закончив прокос, мы без сил валились на траву, где уже отдыхали взрослые. После короткой передышки мы приходили в себя, дощечками со смесью вара и песка (вместо брусков) правили наши косы и вместе со взрослыми начинали новый прокос.

Потом мы приноровились, и косьба не казалось нам такой тяжёлой, как в первые дни.

Полянка для покоса находилась на каменистом холме и наши косы часто попадали по камням. По вечерам Василий Иванович правил косы, молоточком «оттягивал» их лезвия на маленькой наковальне, прибитой ко пню.

Когда сено в валках подсыхало, девушки начинали его «ворошить» - переворачивать толстые валки деревянными граблями. Высохшее сено мы сгребали в копны, которые с помощью нашей лошади сволакивали к месту, где намечали ставить стог. На этом месте уже стоял «стожар» - высокий шест в центре будущего стога. К нему шалашиком были прислонены «боганы» - более короткие шести с рогульками на конце.

Стога мы смётывали все вместе, но принимал сено и складывал его в стог самый опытный из нас – Василий Иванович. Чтобы сено оставалось сухим, стога ставили пустыми внутри и с норами внизу для вентиляции. Когда ночи стали холодными, в этих тёплых, пахнущих свежим сеном, стогах мы потом ночевали.

Вечерами, сидя у костра, Василий Иванович любил порассуждать со мною и с Генкой на самые разные темы. Он, например, доказывал, что «образованные», все эти «профессора» - просто дармоеды и они сидят на шее у них, у крестьян. Мы пытались спорить, но переубедить его было невозможно – в деревнях, похоже, так думали все.

Видя в нас «образованных дармоедов», Василий Иванович старался поставить нас в тупик, ехидно задавая нам каверзные вопросы, вроде – почему трещат дрова в костре? Мы, как могли, отвечали, а Василий Иванович только посмеивался в бороду.

И всё же к нам, к мальчишкам, он относился по-доброму. Рассказывал про окружавший нас лес, учил угадывать погоду на завтра, показывал съедобные и ядовитые растения, пересказывал местные байки про волков, которых здесь было множество, про рысей, которые, как говорили, прыгают людям на спину, про медведей, с которыми бабы сталкивались в малинниках. На соседней речке он показал нам места, где в молодости добывал платину. Полузасыпанные старательские ямы были окружены зарослями белой малины.

На следующий год на сенокосе нас было четверо ребят и ещё несколько взрослых. Не было с нами Генки Логинова – он заболел какой-то хронической болезнью и для лечения его увезли в Одессу.

Лето в тот год было дождливым и холодным. Сено в валках не сохло, приходилось многократно его ворошить, а из-за дождей косьбу часто

останавливали. От бесполезной работы и вынужденного безделья настроение было паршивое. Ничем другим этот сенокос не запомнился.

В 47-м году для покоса нам выделили горный склон, у подножья которого протекал лесной ручей, густо заросший черёмухой. Далеко за ручьём простирался старый сосновый лес.

Нас приехало пять мальчишек, а из взрослых был только воспитатель Василий Сидорович, демобилизованный офицер из местных (о нём я уже говорил).

В нижней части склона из срубленных молодых деревьев мы построили односкатный балаган, открытой стороной обращённый вниз к ручью. Покрыли его толстым слоем свежескошенной травы и такую же траву постелили внутри. Развели костёр и сварили на ужин картошку. Василий Сидорович расщедрился и вместе с вечерней пайкой раздал нам по кусочку вкуснейшей американской колбасы. Она была в красивых голубых баночках с припаянным ключиком для открывания. Кстати сказать, в столовой нам такую колбасу не давали, хотя в детдом она, как видим, поступала...

Перед балаганом мы подготовили костёр-нодью – одно сухое бревно положили на другое и закрепили кольями. Такой костёр горит всю ночь, давая много тепла. Для растопки брёвна обложили сухим хворостом.

Ещё заранее Василий Сидорович предупредил, что ночевать он будет в соседней деревне. Солнце садилось, когда он ушёл, пожелав нам спокойной ночи. Мы остались одни.

Стало быстро темнеть. Мы подожгли растопку в ночном костре и, закутавшись в одеяла, улеглись на пахучую травяную постель. Спать на новом месте не хотелось. Мы разговаривали, наблюдая за разгоревшимся хворостом. Растопка прогорела, между брёвнами уже тлел огонь, слабо освещая темноту. Покрапал мелкий дождь.

Со стороны соснового леса вдруг послышался шенячий тьявкаящий полулай, полувой. К нему присоединился такой же голос, потом ещё несколько более низких голосов. И вот, казалось, весь лес наполнился многоголосным волчьим воем.

Тоскливый вой волков наводит невольный ужас даже на взрослых, а мы, мальчишки, были одни, нас окружала глухая темнота, которую только

подчёркивал слабый свет ночного костра. Притихшие, мы слушали этот вой, напряжённо вглядываясь в темноту. Вдруг кто-то из ребят показал в сторону леса и сдавленным голосом произнёс:

- Волки!

В темноте мы увидели холодные, фосфоресцирующие огоньки и их становилось всё больше и больше. Мы не сомневались, что это волки, – в их глазах отражался свет нашего костра. Мы вскочили, сгрудились у костра и, чтобы пламенем отпугнуть волков, стали бросать в него сухие ветки, приготовленные на утро.

Из-за горы поднялась полная луна, осветила всё вокруг и огоньки вдруг исчезли. Только теперь мы поняли, что это не волки, а мокрые листья стоявших ниже по склону черёмух, блестящие на слабом свете поднимавшейся луны.

Вой волков внезапно прекратился. Стало тихо, слышен был только шелест листьев. В костре ярко горели брошенные нами ветки. Мы снова улеглись, нервно посмеиваясь над случившимся.

Где-то в стороне вдруг раздался человеческий крик, скорее вопль. Кричала женщина, на которую, очевидно, напали волки. Мы вскочили, не зная, что делать, как ей помочь. Ночная местность была незнакома, да и оружия у нас не было. Крик внезапно оборвался, можно было только гадать, почему... Но через некоторое время вопль раздался опять.

- Раз кричит – значит жива, - подумали мы, – возможно, она спаслась на каком-нибудь дереве.

Крик прекратился и через несколько минут опять повторился. Крики с перерывами продолжались всю ночь. Толком спать в эту ночь мы так и не смогли.

Я уже говорил, что в те годы на Среднем Урале было настоящее нашествие волков. Возможно, это были полярные волки, так как их окраска была светло-серой. Отстреливать их было некому - в деревнях почти не было мужчин. Волки даже днём «задирали» овец, телят, жеребят. Были случаи нападения на коров и лошадей.

Наутро вернулся Василий Сидорович. Рассказав про наши ночные страхи, мы дружно заявили, что одни больше не останемся. Он стал нас успокаивать, сказал, что такими криками здешние женщины отпугивают волков:

- Похоже, что недалеко отсюда в ночном пасли лошадей. Женщины, которые всегда пасут по двое, услышали, как и вы, вой волков и стали поочередно кричать, отгоняя волков.

- Эти-то крики вы и слышали, - сказал Василий Сидорович.

Объяснил он нам и многоголосие ночного воя:

- Судя по всему, недалеко отсюда находится волчье логово с молодыми и старыми волками.

Он по-военному приказал нам не трусить, а самим перейти в наступление.

Вооружившись косами, мы гуськом двинулись за Василием Сидоровичем, перешли ручей и углубились в старый сосновый лес, откуда мы слышали ночной вой. Волков мы, конечно, не встретили, но зато нашли их логово. На толстом слое хвои были видны следы их лежбища, остро пахло псиной. По предложению Василия Сидоровича, мы ногами разворошили логово.

- Волки сюда не вернутся, - сказал он.

И действительно, волков мы больше не слышали. Только иногда доносились крики женщин, пасущих в ночном лошадей, но эти крики нас уже не пугали.

В четвёртом моём сенокосе (это был 1948 год) принимало участие несколько взрослых и более десяти мальчишек и девчонок. Расположились мы целым лагерем – у нас было три просторных шалаша - для взрослых, для ребят и для девчонок. В центре лагеря была площадка с местом для общего костра.

По вечерам все приходили уставшие. После ужина собирались у костра, я приносил гармошку и нашей усталости как не бывало. Девчонки начинали танцы, на весь лес раздавались лихие частушки. Все вместе запевали песню, потом другую. И только поздним вечером нас с трудом отправляли спать – утром надо рано вставать, пока роса.

Этот последний сенокос я вспоминаю как какой-то праздник, хотя это было совсем не так – была и тяжёлая, с утра до вечера работа, были дожди и изнуряющая жара. Но в памяти остались именно эти весёлые и, как я теперь понимаю, счастливые вечера у ярко горевшего лесного костра.

12. ДОБЫТЬ ПРОПИТАНИЕ

Вспоминая, как мама уговаривала меня что-нибудь съесть, а я отказывался, я думал:

- Какой же я был дурак. Теперь-то я бы съел всё, что мне давали...

В детдоме нас кормили три раза в день, но из столовой мы выходили голодными. Мы постоянно хотели есть и каждый был озабочен, как добыть себе пропитание.

С дополнительным пропитанием трудно было зимой, когда добывать еду было негде - леса, поля и огороды засыпаны снегом, реки покрыты льдом. И перебои с продуктами, случавшиеся в детдоме, происходили, почему-то, всегда зимой. В какой-то год, например, нас всю зиму вместо мяса кормили бочковой камбалой.

Единственно, что удавалось зимой достать – это картошку. Одну две картошины кто-то смог стащить, помогая на складе, кто-то – во время дежурства на кухне. Несколько картошин можно было выменять у деревенских мальчишек на карандаши и перья.

Добытые картошины мы пекли в печах-голландках, дверцы которых выходили в общий коридор. Мы собирались возле них по вечерам, когда печи протапливали на ночь, и каждый терпеливо ждал, когда за чугунной дверцей испечётся его заветная картошина.

С приходом весны мы начинали собирать перезимовавшую в земле и ещё мёрзлую картошку. После оттаивания она становилась мокрой и мягкой. Некоторые клубни оставались белыми, а другие оказывались почему-то чёрными. Мы лепили из них лепёшки, которые называли «крахмал». Эти «крахмалы» мы пекли в тех же печах.

В одну из зим из-за нехватки дров нас переселили в «господский дом». В новой нашей спальне было очень тесно, по всей комнате кровати стояли вплотную друг к другу. Но нас эта комната устраивала – в ней находилась печка с чугунной плитой, на которой мы пекли свои «крахмалы».

В этой спальне мы прожили всю зиму. Весной мы, как обычно, стали собирать перезимовавшую картошку. Как-то мы сидели на кроватях у плиты, на которой пеклись наши «крахмалы». Дверь открылась и в спальню вошли какие-

то городские дядьки с портфелями. Они стали расспрашивать, как мы живём, чем занимаемся, как питаемся. В спальню заглянула испуганная воспитательница младшей группы, но один из пришедших закричал :

- Вон отсюда!

Воспитательница исчезла.

Один из дядек брезгливо показал на наши чёрно-белые лепёшки:

- Что это у вас ?

Мы ответили, что это «крахмал», который мы сейчас будем есть. Одну из лепёшек он попросил взять с собой. Завернув, ещё горячую, в бумагу, он положил её в портфель. Потом мы смеялись над пацаном, который оказался сегодня без «крахмала».

А дядьки с портфелями были какой-то комиссией из Свердловска, приехавшей снимать нашего директора (директоров у нас снимали почти каждый год).

Когда наступала пора посадки огородов, наш «голодный» период заканчивался. Нам доверяли посадку только картошки и, где бы мы её ни сажали (на детдомовском или на колхозных огородах), на костре для нас всегда варили картошку. И несколько картошин можно было прихватить с собой.

А уж летом еду мы добывали, как говорится, везде – на полях и огородах, в окружающих нас лесах и в наших реках.

Рыбачили мы чаще всего на Бисерти, где были и быстрые перекааты, и тихие заводи. Некоторые рыбачили уже весной – в омутах у мельницы хорошо ловились налимы. Но обычно ловили рыбу попроще - пескарей, ершей, окуней. Одно время в детдоме был свой рыбак с лодкой и с рыбацкой снастью. Иногда он брал нас с собой и мы с удовольствием ему помогали – заводили на глубину бредень, в тихих заводях загоняли рыбу в сеть «боталом» (длинным шестом с пустым колоколом на конце). Свой улов он сдавал на кухню, но какая-то рыбёшка перепадала и нам.

У каждого из нас были свои крючки и лески (в местном кооперативе мы их выменивали на лекарственную ромашку), у каждого был котелок для варки, сделанный из банки от американской тушёнки, и немного соли. Для разведения костра каждый имел кресало с кремнем и коричневый трут из чаги (берёзового гриба).

В окрестных лесах было много ягод, но наибольшей популярностью у нас пользовалась малина. Особенно много её было в малинниках на старых гарях. Прийдя на малинник, мы наедались малиной, как говорится, до отвала, а потом только пили сок, который надавливали из ягод в котелках. В болотистых низинах мы собирали чёрную смородину, в зарослях вдоль лесных ручьёв – черёмуху. А на солнечных полянах «клевали» сладкую землянику.

Встречались в лесу и другие съедобные растения. Это могла быть маслянистая луковица лесной лилии, или толстый корень обыкновенного лопуха, по вкусу напоминавшего капустную кочерыжку, или молодые побеги высокой трубчатой травы, по местному «пиканы». Поближе к осени мы собирали и пекли в кострах кедровые шишки. А вот грибы, которых в лесу было много, мы не ели – мы их плохо знали и ещё, возможно, потому, что местные жители почему-то не увлекались сбором грибов.

Поспевали колхозные огороды и мы понемногу таскали с них картошку, морковь, капусту, толстые корни турнепса и ещё один корнеплод, который я никогда потом не встречал. Назывался он «буква», по внешнему виду и на срез он был похож на редиску, но в диаметре достигал 10-15 и более сантиметров и был сладковатым на вкус.

Деревенские огороды мы не трогали, хотя деревенские приписывали детдомовцам любую пропажу (возможно, что это сохранилось со времён «исправдома»). В одном из деревенских огородов кто-то ночью накопал и увёз несколько мешков картофеля. Хозяйка огорода с криком прибежала к нашему директору. Нас построили, стали выяснять, кто это сделал. Напрасно мы объясняли, что мы не могли это сделать, что столько картошки нам не надо, а если мы берём, то только куст-другой, а деревенские огороды мы, вообще, не трогаем. Но нас не слушали и для наказания продержали в строю несколько часов.

Кроме выстаиванием в строю, нас наказывали и запретом на выход с нашего двора. Тогда нам приходилось туго – добывать еду было негде, а если у кого-то была припасена картошка, её негде было ни испечь, ни сварить, – костерок не разведёшь, а летом печь топилась только на кухне. Пробовали мы есть картошку сырой, но от неё вязло во рту. А потом приспособились – поднимались на крышу, подбирались к кухонной печной трубе, опускали в неё длинную

проволку с нанизанной на ней картошкой. Проволку закрепляли и картошка пеклась горячим дымом.

Возможность получше поесть появлялась и тогда, когда мы участвовали в работах за пределами детдома - на сенокосах, на заготовке дров. Иногда нас посылали на колхозные работы (за это детдому давали автотранспорт). Там, кроме обязательной картошки, нам давали деревенский хлеб, пахту или обрат (снятое молоко). Во время дежурств на кухне и в столовой приходилось много работать – мы чистили овощи, мыли котлы и кастрюли, разносили по столам порции. Но дежурящие получали порции побольше, а иногда им доставались остатки пищи в тех же котлах и кастрюлях.

Я уже говоил, что директоров у нас снимали почти ежегоно. Снимали «за материальные злоупотребления», а если попросту, за воровство. Вместе с ним снимали ещё несколько человек, но для нас это мало что меняло – приходили другие и всё продолжалось - продукты растаскивали все, кто мог – и администрация, и кладовщики, и повара. Одна из сотрудниц, у которой была большая семья, специально переехала сюда из города, чтобы кормиться возле детдома.

Многочисленные комиссии, устанавливавшие эти факты, удивлялись – при таком воровстве они ожидали увидеть худых и измождённых детей, а мы были довольно крепкими и загорелыми. Они не знали, что здесь, в сельской местности, есть много способов добыть себе пропитание. И ещё свежий воздух, солнце, купание в реке и т.п. Они не понимали, что здесь нам помогает сама природа.

13 . ПЕРКА, КОНИК

У нас всегда был какой-нибудь пёс, но так уж получалось, что выживал он у нас не больше года.

Одну нашу собаку звали Тузик. Небольшой пёсик с густой коричневой шерстью был всеобщим любимцем, с ним всегда кто-нибудь возился. Жилось ему у нас сытно – его кормили всем детским домом. Во время обеда кто-нибудь с собачьей миской обходил все столы и каждый отливал туда ложку супа и бросал кусочек хлеба. Нас было много, и Тузику переподало достаточно еды. Когда он к нам прибился, он был худой и какой-то чахлый. У нас он отъелся, шерсть его залоснилась, стала пушистой.

Среди зимы Тузик вдруг исчез. Ребята часами искали его в окрестных зарослях, но всё было напрасно.

Недели через две у нового кладовщика, молодого крепкого мужика, появились рукавицы с пушистым коричневым мехом. Мы решили, что это мех нашего Тузика. Так это было или нет, не знаю, но дети дружно возненавидели кладовщика. Началась настоящая травля – то его хором дразнит малышня, то какую-нибудь гадость напишут на дверях склада, то столкнут штабель пустых ящиков возле склада или ещё что-нибудь. В конце концов он исчез – или уволился сам, а может ему предложили уйти (дирекция знала о нашей с ним войне). Как бы то ни было, но у нас появился другой кладовщик.

Другую нашу собаку звали как-то странно – Перка. Это был чёрный короткошерстный пёс с закрученным в кольцо хвостом. Очень живой, он весело играл с ребятами, часто увязывался за кем-нибудь в лес или на реку.

Однажды мы с ребятами возвращались с рыбалки. Только мы зашли на мост через Бисерть, как нам навстречу на мост влетела толпа детдомовцев с криком:
- Перку убивают!

Кто-то видел, как деревенские гонялись за нашим Перкой, и половина детдома бежала его спасать. Мы тоже присоединились. Побоища с деревенскими, к счастью, не произошло - Перка нашёлся целым и невредимым.

Перка прожил у нас лето и осень. Наступила зима. В эту морозную зиму волки были особенно дерзкими. По ночам они выманивали собак со дворов, а потом утаскивали их (деревенские говорили, что волки подманивают собак, тихо поскуливая у ворот). Со двора мельника волки утащили очень ценную для него

собаку - она на мельнице ловила крыс. Мельник её берёт и постоянно держал на привязи. Но собака рвалась к волкам и, освободившись от привязи, сама выскочила за ворота.

В нашем дворе по утрам мы часто видели на снегу множество волчьих следов. И Перка, чуя, видимо, волков, часто рвался по ночам из корпуса. Каждый вечер мы уводили его в корпус и сами проверяли, закрыты ли наружные двери. И просили дежурного не выпускать собаку, как бы та не рвалась.

В одну из ночей дежурила тётя Маша, очень нервная пожилая уборщица. Во время гражданской войны колчаковцы (кстати, из этого же села) на её глазах жестоко убили её мужа и после этого она стала немного «не в себе».

Вечером мы, как обычно, завели Перку в здание, проверили на дверях запоры и ещё раз предупредили тётю Машу, чтобы та не выпускала собаку, как бы та ни рвалась.

Утром Перки в здании не оказалось... Тётя Маша оправдывалась, что он всю ночь рвался наружу, с лаем бросался на дверь и она не смогла этого долго вынести. В конце концов она открыла дверь и выпустила собаку.

Мы выбежали во двор и на снегу увидели волчьи следы, которые уходили в сторону реки. Мы гурьбой побежали по волчьим следам и на замёрзшей реке увидели сначала пятна крови на снегу, а потом и замерзшие части нашего Перки – кусок лапы, часть его бока.

Для ребят трагическая гибель весёлого Перки было большим потрясением. Девчонки плакали, все ругали полусумашедшую тётю Машу. И ещё долго вспоминали разные истории, главным героем в которых был всеобщий любимец Перка.

В детдоме были две лошади, которые использовались для хозяйственных нужд. Был у нас конюх, но он больше занимался конюшней и на лошадях чаще всего выезжали старшие ребята. На них мы ездили за овощами в соседние колхозы, за сеном в поле, за дровами в лес. За старшими часто увязывалась малышня и иногда им разрешали поправить. Особо заядлые «лошадники» гоняли лошадей в ночное.

Одна из наших лошадок была смиренная серая кобыла, покорно выполнявшая все команды. Звали мы её просто - Серая и с ней у нас не было приключений. Другая наша лошадь - рыжий мерин по кличке Коник был очень хитрым и

упрямым. Когда его запрягли, он надувал живот, и во время езды вся упряжь съезжала набок. Он всегда знал, когда им правит кто-нибудь из малышей. Тогда он мог развернуться, и, не слушая детского понукания, упрямо двинуться в сторону дома. А бывало и так: малыш стегнёт его кнутом, а тот, вместо того, чтобы двигаться быстрее, начинает лягаться. Вот так отбиваясь, Коник ударил копытом в лоб восьмилетнего Ахмета. К счастью, удар пришёлся по касательной, но синяк у Ахмета был большой...

А живого уголка со зверюшками, птичками и рыбками у нас не было – для этого в детдоме не было ни средств, ни помещения. Да и зачем? Всех этих животных мы могли видеть «вживую».

14. ЛЫЖНЫЙ ПЛЕВРИТ

Зимы на Урале снежные, реки рано покрываются льдом. Но зимним спортом с нами не занимались - не было зимнего инвентаря.

Но плохонький инвентарь у нас, всё-таки, был. Ребята притащили откуда-то пару коньков, один из которых был хоккейный «дутьш», а второй – «снегурка» с загнутым носом. Очередь на них занимали ещё с вечера. И не удивительно, что с такими «разномастными» коньками прилично кататься мы так и не научились .

Были ещё старые ободранные лыжи с самодельным креплением и с самодельными палками. Несколько пар этих лыж были нарасхват. Мы пробовали делать лыжи сами. Мы их выстрагивали, а загибать носы у нас не получалось, и лыжи зарывались в снег. Но детдомовская малышня и на них с удовольствием «бродила» в нашем дворе.

На стареньких лыжах мы добирались до ближайшей, довольно высокой горы, наполовину заросшей лесом. Одна её сторона была крутой, здесь мы катались с небольшого снежного трамплина. Другой её склон был пологим, можно было долго скатываться, но ещё дольше приходилось потом подниматься.

Как это ни удивительно (видимо, по указанию начальства) в детдоме организовали лыжный кросс. Откуда-то срочно привезли много детских лыж, из наших мальчишек и девчонок собрали лыжную колонну. Лыжных костюмов у нас, конечно, не было. Нам, как всегда, выложили кучу одежды из американских подарков и предложили выбрать себе для кросса. Мне понравился тонкий хлопчатый свитерок - в нём я себе казался таким же спортивным, как лыжники на красочном плакате, висевшем у нас в детдоме.

Кросс проходил по гористой местности, и без тренировки многие стали выбиваться из сил. Колонна сильно растянулась, и нам, шедшим впереди, приходилось часто останавливаться, дожидаясь отстающих. На таких остановках я, разгорячённый и взмокший, быстро замерзал - морозный ветер легко продувал мой свитерок.

На следующий день я слёг с сильной температурой. Молоденькая фельдшерица, Алла Борисовна, определила, что у меня воспаление лёгких, и стала усиленно лечить разными лекарствами. Болел я тяжело, температура всё поднималась, я находился в каком-то болезненном полусне. Изолятора у нас не

было и я лежал в нашей спальне. Кроме лечившей меня Аллы Борисовны, ко мне часто подходила воспитательница Нина Ивановна. А долгие вечера возле меня просиживала наша бухгалтер Мария Ивановна, молодая женщина лет сорока. Она давно уже хорошо ко мне относилась, даже предлагала меня усыновить, но я не соглашался – где-то ведь были мои родители (в моих документах стояло: «Родители есть, но их адрес неизвестен»).



**Кленовской детский дом.
С Марией Ивановной, нашим бухгалтером,
которая предлагала меня усыновить.
Фото 1946 г.**

Через неделю мне стало лучше, я даже мог ходить в столовую. К большому удивлению ребят, есть мне почему-то не хотелось.

Через пару дней я опять свалился с высокой температурой, временами теряя сознание. Поняв, что дело серьёзное, меня решили отправить в районную больницу, до которой было километров сорок. Везли меня в санях, завернув в тяжёлый овчинный тулуп и накрыв какими-то шубами. Везли осторожно и поэтому довольно долго. Когда мы подъехали к больнице, я очнулся весь

мокрый и вдруг почувствовал себя совсем здоровым. Видимо, под тяжёлыми шубами и жарким тулупом у меня прошёл кризис. В больнице у меня проснулся зверский аппетит, я всё время хотел есть и всё просил квашеную капусту. Квашеной капусты в больнице, конечно, не было, но одна из медсестёр принесла её из дома. Она всё повторяла, что я очень похож на её недавно утонувшего сына.

Больничные врачи сказали, что я переболел тяжёлым плевритом. Когда потом я проходил рентгеновские обследования, я всегда предупреждал, что тёмные пятна – это рубцы от перенесенного в детстве плеврита.

В детдом я возвращался на стареньком райкомовском «Виллисе» - по просьбе нашего директора меня попутно подвозил секретарь райкома, сильный дядька в кожаном пальто. Стоял солнечный морозный день и настроение у меня было преотличное. И от хорошей погоды, и от того, что я ехал в самой настоящей автомашине, и от добрых расспросов секретаря райкома. Вдруг переднее колесо нашей машины вырвалось вперёд и одиноко покатило впереди по дороге. Шофёр с трудом остановил машину, не дав ей перевернуться. Сидевшие в машине замолчали, потом, глядя на всё ещё катившееся колесо, стали громко хохотать. В этот момент я понял, что и больница, и вся моя болезнь остались позади, что я здоров, что я еду к себе домой, в мой детский дом.

15. ПОПИК, БЕДНАЯ ЛИЗА И ДРУГИЕ

У многих детдомовцев были прозвища, и каждое было результатом, можно сказать, коллективного творчества. Кто-то случайно называл пацана шутливым словом. Если слово было метким, его начинали повторять. При этом могли уточнять, что-то менять. В окончательном виде оно принималось ребятами, становилось прозвищем и насовсем приклеивалось к пацану.

Шутливое слово могло быть неудачным и тогда его просто забывали. Такое случалось, когда оно было недостаточно метким или не соответствовало, условно говоря, «статусу» пацана – степени авторитета у ребят.

Последний случай произошёл, например, со мной. Обыгрывая моё имя Роберт, один из пацанов в шутку назвал меня оберлейтенантом. Против меня он ничего не имел, просто это показалось ему остроумным. Я не стал обращать внимание, не полез, как говориться, в бутылку. А ребята не стали повторять эту шутку и она тихо забылась.

Многие из прозвищ были созвучны с фамилиями ребят. У Ваньки Межнякова, например, было прозвище «Межняк», у Попова – «Попик», у Муртазина-Лейзера – «Бедная Лиза», у Ашихматова – «Шихмат». Созвучие часто подкреплялось и обликом пацана. «Попик» был худеньким, щуплым мальчиком и это прозвище к нему подходило. У полутатарина Муртазина-Лейзера было широкое белокожее лицо с нежным девичьим румянцем и прозвище «Бедная Лиза» (или просто «Лиза») приклеилось к нему сразу же. А вот крепкий подтянутый пацан, чем-то похожий на артиста Крючкова из кинофильма «Трактористы», получил прозвище «Танкист».

Иногда прозвища давались, исходя из жизненной истории и характера пацана. Например, малорослый мальчишка с лицом безбородого старичка имел прозвище «Москвич». Так его прозвали не только потому, что он грабил в Москве квартиры, но и потому, что это был хитрый и много повидавший пацан. Он был ещё и старше нас - обманув медицинскую комиссию, он занизил свой возраст, своим маленьким росточком выдавая себя за мальчика.

А у пацана, которого звали Владимир Ульянов, прозвища не было – все боялись задеть имя «великого вождя коммунистов» Владимира Ульянова-Ленина. Все мы знали, что за такое по головке не погладят.

У девочек почему-то прозвищ не было, по крайней мере, мы, мальчишки, их не знали.

Попытка избавиться от мальчишеских прозвищ была предпринята только один раз.

Посреди зимы срочно понадобилось вычистить наш туалет – стоявшую во дворе большую деревянную будку, внутри и вокруг которой намерзло много, условно говоря, «льда». Чистили его обычно ребята по «нарядам вне очереди». Такие наряды получали многие, поэтому туалет всегда был относительно чистым. На этот раз воспитатели ослабили бдительность, нарушителей было мало и туалет оказался запущенным. Воспитатель Владимир Петрович, недавно демобилизованный офицер (о нём я говорил), решил эту проблему по-военному просто. В воскресенье, когда мы все находились в спальне, он пришёл и громко объявил:

- С сегодняшнего дня применять прозвища строго запрещается! Нарушители получают наряд вне очереди – пойдут чистить туалет!

Он расположился за столом в центре спальни и углубился в какие-то бумаги, прислушиваясь к нашим разговорам.

Сначала мы крепились, обращались друг к другу по именам – Колька, Муратка, Вовка, Робка. Через десять-пятнадцать минут мы стали сбиваться на привычные для нас прозвища:

- Танкист, Попик, айда на гору!
- Лиза, дай ножик карандаш починить!
- Шихмат, где второй конёк? Ты последним катался!

Ну, и так далее... Короче говоря, не прошло и часа, как почти вся наша спальня дружно скалывала «лёд» в туалете.

Потом никто за прозвищами не следил и мы продолжали общаться по-старому. Главная цель воскресного мероприятия была достигнута – туалет вычистили, а за такое безнадёжное дело, как искоренение мальчишеских прозвищ, никто и не думал братья.

И эти две системы обращений продолжали существовать, не смешивая ребячий мир с миром взрослых.

16. ТРУДЫ НАШИ. ЛЕСНОЙ НОВЫЙ ГОД

Программ по трудовому воспитанию у нас, конечно, не было, но трудом мы занимались постоянно. Для текущих работ у нас существовала система нарядов, как в армии. По очередным нарядам, которые давались по определённом графику, мы дежурили на кухне и в столовой, пилили и кололи дрова для наших печей, делали уборку в спальнях и в коридорах, чистили двор. Внеочередные наряды давались, как водится, за провинности и получали их обычно мальчишки.

Кроме «нарядных» работ, мы работали на детдомовском огороде, заготавливали сено и дрова, работали в соседних колхозах. На работы за пределами детдома мы выезжали бригадами, которые формировались из старших ребят. Состав бригад определяли воспитатели, но некоторые из ребят (в том числе и я) вызывались добровольно – на таких работах сытней кормили.

Про детдомовские сенокосы я уже рассказывал. Такой же непростой для нас была и заготовка дров. Каждый год в начале лета мы выезжали в лес. На выделенной нам делянке мы, мальчишки 12 –14 лет, валили деревья, обрубали сучья, пилили стволы на метровые куски, которые складывали для просушки в поленницы.

Самым трудным было валить деревья – пилы были тяжёлые, их часто зажимало, а силёнок не хватало. Потом появились лучковые пилы, работать с ними было легче.

Заготовка дров была не только тяжёлой, но и опасной работой, но, как это ни удивительно, серьёзных травм у нас не было (только порезы и разные ссадины).

Заготовленных дров, как всегда, не хватало, и несколько раз за зиму приходилось снова отправляться в лес. Зимой работать в лесу тяжелее, чем летом. Особенно осложнялась валка деревьев – их надо было спиливать у основания, чтобы не оставалось высоких пней. В уральских лесах снега глубокие и, чтобы добраться до основания дерева, иногда приходилось глубоко закапываться в снег. В снежной яме и пилить было труднее.

В детдоме был свой огород, на котором выращивали только картофель. В первый год под огород нам выделили целину и при её вспашке просто переворачивали плотный дёрн. Копать в нём лунки под картошку было трудно, особенно нашими лопатами, поэтому мы просто подсовывали картошку под

дёрновые пласты. Мы, честно говоря, думали, что картошка не вырастет, а уродился такой её урожай, какого никогда потом у нас не было. В последующие годы посадку и уборку картошки мы производили под конный плуг, что было намного легче.

В соседних колхозах мы работали на зерновых токах, собирали в поле горох, дёргали кормовой турнепс и «букву», о которой я уже писал. А один раз мы трудились на болоте – собирали мох, которым конопатят деревянные срубы.

Срезанную пластину мха мы нанизывали на тонкий прут с сучком внизу. Нанизывали до тех пор, пока не собирался столбик мха. Брали следующий прут и процедура повторялась. Пруты со столбиками мха мы выносили к дороге и там грузили на телегу.

В «господском доме» у нас организовали столярную мастерскую. Старый мастер чинил там нашу мебель и понемногу изготавливал новую. Нам, нескольким мальчишкам, предложили поработать в мастерской и мы, конечно, согласились. Мастер учил нас столярному делу, и через какое-то время мы уже сами делали табуретки и стулья. А однажды мы изготовили вполне приличный деревянный диван.

Выполняли мы и плотницкие работы - вокруг нашей территории поставили забор (из жердей, о которых я писал), участвовали в строительстве нашей бани. Сруб для неё заготовили в лесу приглашённые плотники. К нам его привезли в разобранном виде и здесь снова собрали. Мы помогали ставить перегородки, сооружать полки, стелить полы. Ну а полностью нам доверили только засыпку чердака шлаком.

Поработали мы и штукатурками. Второй этаж нашего здания представлял собой неоштукатуренный сосновой сруб. Чтобы утеплить, решили его оштукатурить изнутри. Эту работу директор заказал своему родственнику, а в помощь ему собрали бригаду ребят. Несколько недель мы прибывали дранку, готовили растворы, на отдельных участках штукатурили. Нам даже немного заплатили. А родственник директора, как рассказывали, отхватил за эту работу хороший куш.

Каждый год и всегда в конце декабря наш кладовщик отправлялся в Свердловск за товарами. Оттуда он привозил детскую одежду, обувь, одеяла, ткани и много ещё из того, что необходимо детдому на целый год. Товара было много, и в помощь он брал с собой ребят. Раза два ездил с ним и я.

В последнюю из поездок мы возвращались на полуторке. Был поздний вечер 31 декабря 1947 года. Кладовщик сидел в кабине рядом с шофёром, а мы, трое ребят, находились в кузове. Проехать надо было двести с лишним километров, и, чтобы не замёрзнуть, мы зарылись в наваленную одежду и накрылись одеялами. Нам оставалось километров десять, когда дорога пошла по густому лесу – по обе её стороны высились засыпанные снегом высокие ели. Высунувшись из кабины, кладовщик громко спросил, всё ли у нас в порядке, и добавил, что до Нового года осталось минут пятнадцать и что скоро мы приедем. Мы оживились, стали гадать, какую у нас поставили ёлку, как её нарядили.

Полуторка вдруг остановилась, освещавшие дорогу фары погасли. Оказалось - кончился бензин. Кладовщик с шофёром, переругиваясь, отправились за помощью в соседнюю деревню. Мы остались одни. Наступила тишина и было жутковато. Прошло какое-то время, мы высунулись из наших нор и огляделись - стояла ясная морозная ночь, при свете луны искрился снег и над высокими елями ярко мерцали бесчисленные звёзды. Мы повеселели.

В этой сказочной обстановке, лёжа в кузове, мы встретили Новый 1948-й год!

17. И АРТЕК, И ДЕБИЛ

В детском доме были дети разных национальностей – русские, украинцы, татары, башкиры, мордва, удмурты, а из немцев я был один. Но дискриминацию как немец я не чувствовал. Многие просто не знали, что я немец, а которые знали, не принимали всерьёз – я был такой же, как все, а немцами для них были те, которые воевали против нас на фронте (о том, что есть советские или российские немцы здесь вообще не знали - в тот район Урала их почему-то не выслали). Единственно, что их удивляло - моё имя и моя фамилия:

- И Роберт, и Ридель, где у тебя имя, где фамилия? Не разберёшь!

Не последнюю роль здесь сыграло и то, что среди ребят у меня был определённый авторитет. Складывался он ещё тогда, когда я, только что приехавший новичок, разучивал с ребятами песни, рассказывал им книги. Прибавил мне авторитета и случай в столовой, который произошёл тогда же. Мы стояли в очереди к кухонной раздаче, и один из пацанов грубо оттолкнул меня в сторону. Я остервенело кинулся на него, сбил с ног и стал дубасить, пока меня не остановила воспитательница. Про эту драку почему-то ещё долго говорили, она обросла разными подробностями и, возможно, поэтому никто со мной больше не задирался. А когда я стал «гармонистом», мой мальчишеский авторитет вырос ещё больше.

Учился я охотно и считался лучшим учеником. За хорошую успеваемость нас иногда (обычно по праздникам) награждали ценными подарками – новыми ботинками, сапогами, а однажды мне вручили даже костюм. После торжественного вручения подарки забирал стоявший за сценой кладовщик («для хранения»). Больше мы их не видели...

Как-то меня и ещё двоих ребят наградили поездкой на зимние каникулы в Свердловск (теперешний Екатеринбург). Нас сопровождал последний наш директор Степан Разумович Белобородов. Билетов на поезд, как всегда, не было и все двести километров до Свердловска (а потом и обратно) мы ехали на подножках или на площадках вагонов ещё довоенной конструкции. При этом мы проезжали несколько туннелей...

В Свердловске нас сводили в драмтеатр на героическую пьесу про военных моряков. В музыкальном театре нас поразила весёлая и яркая оперета. В красочно оформленном Дворце пионеров (бывшем дворце уральского заводчика

Демидова) мы участвовали в новогоднем празднике вокруг огромной нарядной ёлки. Нам вручили подарки с простыми конфетами и даже с одним мандарином. Домой мы вернулись, как говорится, до краёв наполненные впечатлениями.

На общем собрании детдома и школы, посвящённом завершению учебного года, наш директор торжественно объявил, что за отличную учёбу воспитанник детского дома ученик теперь уже седьмого класса Роберт Ридель награждается путёвкой в пионерский лагерь Артек. Такой же путёвкой наградили дочь завуча школы. Были громкие аплодисменты, нас поздравляли. Я уже представлял, как побываю в солнечном Крыму, как увижу Чёрное море, о котором так много читал.

Через неделю меня вызвали в воспитательскую. Там уже находился директор детдома, несколько воспитателей и наша медсестра. Мне предложили раздеться до трусов и медсестра стала придирчиво осматривать меня со всех сторон. Наконец она нашла у меня несколько ссадин и громко сказала, что с такими ссадинами я не могу ехать в Артек, меня там не примут. Все дружно согласились с ней. Такие ссадины можно было найти у любого детдомовца и я сразу понял, что это повод отказать мне в поездке в Артек. Ясно понимая разыгранную комедию, мне стало неловко за сидящих передо мной взрослых. Я поспешно оделся и, не глядя на них, вышел из воспитательской.

В пустом коридоре подступила горечь:

- Это всё из-за того, что я немец, просто они не говорят в открытую. Выходит, что я не такой, как все, что я хуже всех и что это будет всегда!

Мелькнула мысль, которая приходила ко мне не раз - надо сбежать, взять другую фамилию и никто не узнает, кто я и откуда. Но тогда я не увижу родителей, а о встрече с ними, о жизни в родной семье, я мечтал все эти годы...

А с путёвкой в Артек было так – наши простые и честные воспитатели присудили её мне, считая, что я её заслужил, а где-то наверху меня не пропустили как немца.

А вместо меня в Артек поехал другой наш детдомовец – башкир Валерий Галин, далеко не лучший наш ученик. Он сам мне говорил, что это не настоящее его имя, настоящее он сменил, как это делали многие беспризорники. Но он не только сменил имя, но и сильно занизил свой возраст – рядом с ним мы были совсем детьми. Руководство детдома, видно, догадывалось, что он старше нас - к

нему благоволили, на какое-то время даже устроили на платную работу - воспитателем одной из младших групп. А у меня с ним всегда были непростые отношения, особенно после истории с Ваней Межняковым, Межняком. У Галина был с ним конфликт, они даже подрались в лесу и Галин сделал всё, чтобы Межняка отправили в ФЗО, не дав доучиться в школе.



**Слева направо - директор Кленовского детского дома
Степан Разумович Белобородов, Роберт Ридель, Ваня Межняков, Валерий Галин.
Фото 1948 г.**

Межняк был простым и добрым пацаном и когда мы об этом (уже потом) узнали, ребята невзлюбили Галина, хотя никто не хотел с ним связываться.

На внутрidetдомовской жизни, на отношениях ребят между собой я подробно не останавливаюсь. Только скажу, что ничего экстраординарного у нас не происходило, ситуация была как в обычной школе. Но конфликты конечно были. Ещё в детдоме я прочитал книгу «Старшины Вильбайской школы». В ней описывалась жизнь закрытой школы-интерната конца XIX века. И я был потрясён, насколько ситуация в этой школе совпадала с ситуацией, сложившейся у нас в детдоме. Да и главного героя, похожего, как мне казалось, на меня, звали, насколько я помню, Риддель... (Автора я тогда не запомнил и только недавно

узнал, что его зовут Тальбот Бейнс Рид и по-английски книга называется «The Captains of Willoughby School»).

* * *

Успехи в учёбе приносили мне не только приятные и неприятные подарки, однажды они спасли меня от отправки в ФЗО.

Летом 1947 года мы были на сенокосе, когда в Кленовское приехал представитель военкомата для мобилизации подростков в ФЗО. Пришёл он и в детский дом, просмотрел наши списки и всех, кому уже исполнилось четырнадцать лет, наметил для отправки в ФЗО. Среди таких «переростков» оказался и я. По своему возрасту я уже должен был закончить семь классов, но я закончил только шесть, так как один учебный год пропустил в Сибири. Если бы меня взяли в ФЗО, я бы лишился возможности закончить семилетку и, соответственно, учиться дальше. А я собирался поступать в техникум.

Список воспитанников, отобранных в школу ФЗО, обсуждался на детдомовском педсовете с участием представителя военкомата. Когда очередь дошла до меня, ему сказали, что это очень слабый ученик, что он не совсем нормальный и, вообще, дебил, умственно отсталый. От «дебила» он, конечно, отказался.

Таким необычным способом меня оставили в детдоме. Воспитатели, идя на такое, преследовали и свои цели – им был нужен сильный ученик, так как успеваемость была главным показателем их работы.

Обо всём этом я узнал только осенью - Василий Сидорович рассказал мне под очень большим секретом.

Первого сентября я пошёл в седьмой класс и следующей весной закончил семилетку. В тот же год, сдав вступительные экзамены, я поступил в техникум. Но это уже другая история.

18. ТЕХНИКУМ НА ОДНУ НЕДЕЛЮ

Поступать я решил в Свердловский горно-металлургический техникум. Но это было непростым делом - мне предстояло самому добираться до Свердловска (конечно без билета), на время экзаменов надо найти частную квартиру, да и сдавать приходилось целых четыре экзамена. Но всё это удалось преодолеть – до Свердловска я благополучно доехал на вагонных подножках, на квартиру я устроился у родственников нашего директора и вступительные экзамены сдал на «хорошо» и «отлично», что для мальчишки, приехавшего из деревенской глубинки, было совсем даже неплохо.

Возле концелярии вывесили списки поступивших. Я нашёл свою фамилию и подумал:

- Ну, всё! Теперь я студент, буду учиться и стану горным электромехаником.

Я уже собирался домой, но оказалось, что это не «всё». У директора техникума было правило – перед окончательным зачислением в студенты, он с каждым проводил личное собеседование. На собеседование приглашали группами по специальности. Подошла очередь и нашей группы.

Мы сидели в приёмной, и нас по одному вызывали к директору. Предстоящее собеседование меня не очень-то волновало – экзамены я сдал хорошо, в техникум меня приняли, а какие могут ко мне вопросы? Я ведь детдомовец!

Меня вызвали последним. Войдя в кабинет, я увидел крупного мужчину, сидевшего за большим письменным столом и читавшего какие-то бумаги. После долгого молчания он вдруг спросил:

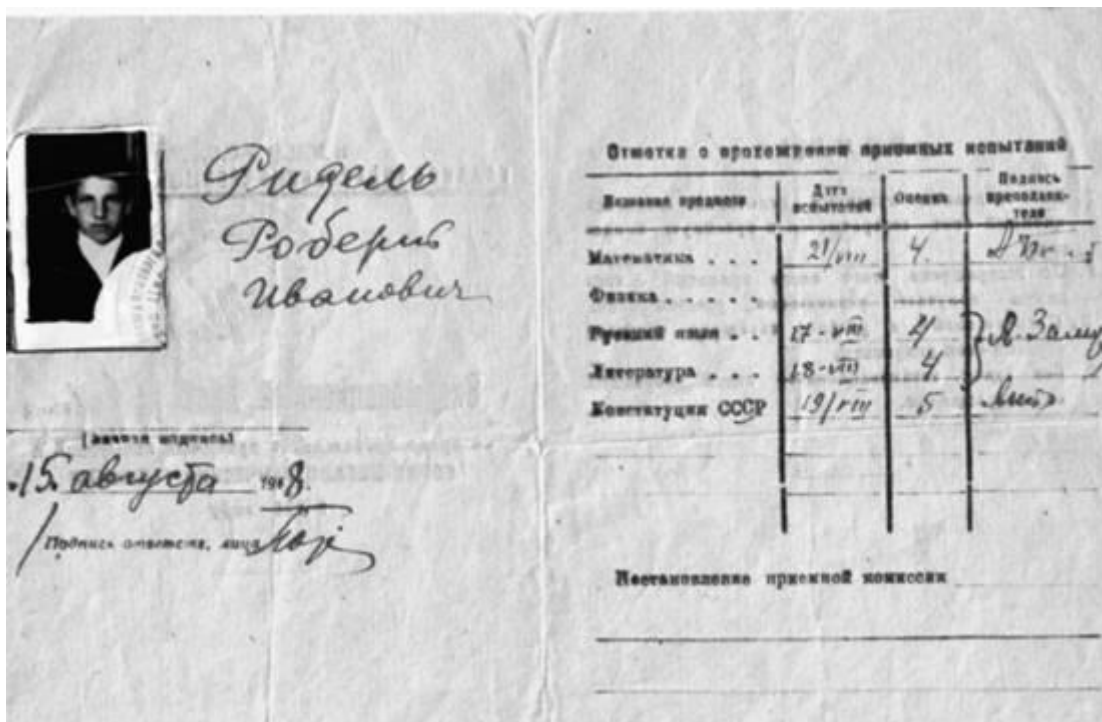
- Ты что, немец?

- Да.

Он в упор посмотрел на меня и вдруг закричал:

- Ты, что, не знаешь, что Свердловск закрытый город? Немцев мы принимать не будем!

Пришлось долго сидеть в приёмной, ожидая свои документы. Из кабинета вышел и куда-то направился директор. С удивлением я увидел, что он был небольшого роста, почти карлик – при крупном телосложении его ноги были очень короткими. То ли это дефект от рождения, то ли последствие несчастного случая. Вид этого «могучего карлика» показался мне зловещим.



Сдача экзаменов при поступлении в Свердловский горно-металлургический техникум, из которого меня сразу же выгнали, потом приняли, а через неделю я сам ушёл.

Получив документы, я вышел на улицу в полной растерянности. Что теперь делать? В детдом вернуться я не могу по возрасту, родных, к кому я мог бы уехать, у меня не было, где мои родители, да и живы ли они, я не знал. И я решил поехать в детдом, будучи уверен, что там меня не оставят. Какое-то время у нас на чердаке жил бывший наш детдомовец, откуда-то сбежавший. В крайнем случае, я там тоже поживу, пока не определюсь.

Приехав в детдом, я всё рассказал директору Степан Разумовичу. Он очень расстроился и сказал, что так он не оставит. На следующий день мы с ним отправились в Бисерть. Обошли несколько районных организаций, в которых заручились ходатайствами и лестными для меня характеристиками. Правда, в одной организации отказались верить, что я немец, посчитав это дурной шуткой. Но, поудивлявшись, нужную бумагу дали.

Подготовив обширное письмо (что там было, не знаю) и приложив к нему бумаги из района, Степан Разумович поехал со мной в Свердловск. У здания техникума он почему-то оставил меня на улице, а сам прошёл к директору. Его долго не было. Когда он вышел, он коротко сказал:

- Тебя приняли.

И мы отправились домой, в наш детский дом, где мне предстояло готовиться к переезду в Свердловск.

В Кленовском детском доме я был первым воспитанником, которого отправляли на учёбу, и одеть меня старались как можно лучше – выдали дешёвенький, но новый костюм, новые ботинки, рубашки. Подобрали и зимнюю одежду, только до зимы оставили на складе. Ещё раньше я сделал себе деревянный чемодан, который выкрасил в светло-зелёную краску, какая нашлась. В него я сложил свои немудрёные вещи – рубашку, смену белья, пару книжек и немного продуктов.

В конце августа 1948 года, взяв свой чемодан и получив немного денег, я оставил детский дом и отправился в Свердловск. Я уже писал, что до Свердловска мы всегда добирались на подножках вагонов или, если повезёт, на межвагонных площадках. Когда проходил слух, что идут контролёры, мы по лестницам залезали на крыши вагонов. Контролёры проходили и мы возвращались на свои места. Но в этой поездке меня задержали - спрятаться на крыше мне помешал мой чемодан. Контролёр завёл меня в вагон и потребовал заплатить штраф. Напрасно я объяснял, что я из детдома, что еду учиться. Контролёр был неумолим и пригрозил сдать в милицию на ближайшей станции. Такая перспектива меня не устраивала, пришлось отдать ему половину моих денег. Единственно, что было в этом хорошее - он не высадил меня и до самого Свердловска я ехал почти с комфортом - в тамбуре вагона.

Мне дали место в студенческом общежитии, и начались мои занятия в техникуме. Большинство учебников я получил в библиотеке, но несколько книг пришлось покупать, что ещё сократило мой «бюджет».

Однажды я решил посмотреть город и вышел к водохранилищу, которое находилось почти в центре города. У берега стояла лодка с двумя мальчишками на борту.

- Пацан, хочешь покататься? – спросил один из них.

Я согласился. Мы отплыли довольно далеко от берега и тот, который пригласил меня, вдруг сказал:

- Пацан, дай трояк, а то лодку перевернём!

И они стали её раскачивать. Я стал говорить, что денег у меня нет, что я детдомовец, но они только смеялись:

- Давай, куркуль, не жмись!

В своей одежде я действительно выглядел богатым куркулём. Лодка всё больше раскачивалась и уже черпала воду. Я понимал, что в одежде я до берега не доплыву, а для пацанов это не проблема - они были трусах. Пришлось отдать им три рубля.

И были ещё расходы. Преподаватель по черчению, седой нагловатый фронт в костюме с бабочкой, на первом занятии поучал нас, мальчишек 14 -15 лет:

- Запомните на всю жизнь – жену и готовальню никому не доверяй!

Он показал нам заграничные карандаши «кох-и-нор» и сказал, что без таких карандашей чертить мы не научимся, и тут же предложил их купить. Никто не осмелился отказаться и на последние деньги мне пришлось тоже купить пару карандашей.

Заканчивалась первая неделя занятий, а деньги мои уже кончились. Стипендию я мог получить только в двадцатых числах, но до неё надо было ещё дожить. Надо ехать в детдом, там обязательно помогут.

Поезда, идущего в нашу сторону, я дождался только к вечеру. Милиция гоняла нас и заскочить на подножку я смог уже на ходу. Потом я перебрался на крышу вагона. В дороге сильно раскачивало, пришлось крепко держался за дефлектор (вентиляционную трубу). После Дружинино совсем стемнело. С крыши вагона я видел ритмично загоравшиеся огни автоблокировки – красный, жёлтый, зелёный, потом снова красный и так далее. Лёжа на крыше и любуясь этими огнями, до Кленовского разъезда я доехал поздно вечером.

Ещё километра три надо было пройти пешком, и в детдом я пришёл уже ночью. Когда я появился в нашей спальне, ребята повскакивали и кинулись ко мне:

- Робка, у тебя отец нашёлся!

Они рассказали, что от отца пришло какое-то письмо, его читали в воспитательской, возможно, оно и теперь там. Воспитательская, расположенная на втором этаже, была, конечно, заперта. По углу нашего здания я забрался на второй этаж (мы проделывали это часто) и через окно влез в воспитательскую. Но там я ничего не нашёл и, несмотря на ночное время, отправился на квартиру к Степану Разумовичу. Он не стал выговаривать за позднее время и показал письмо из какой-то комендатуры. В нём стояло, что спецпереселенец Иван

Давидович Ридель, проживающий в городе Темир-Тау Карагандинской области, разыскивает сына Роберта Ивановича Риделя. Я не столько обрадовался, сколько почувствовал большое облегчение – мне вспомнились мои многолетние мытарства, моя теперешняя неприкаянность и никому ненужность. И я сказал Степану Разумовичу:

- Не отвечайте на письмо, я сам поеду.

Пришлось съездить в техникум за документами. Завуч техникума, просмотрев, видимо, мои оценки, стал уговаривать не бросать учёбу, даже предложил отпуск для поездки к отцу, благо, что студенты в это время были на сельхозработах. Но я упёрся. Сказалось, возможно, и то, что здесь я испытал незаслуженное унижение, когда меня, мальчишку пятнадцати лет, выставили за дверь только за то, что я не тем уродился.

Так я ушёл из Свердловского горно-металлургического техникума, где, сдав вступительные экзамены, проучился одну неделю.

19. В КАЗАХСТАН

Ехать-то я собирался, а как это осуществить – не знал, главное – на дорогу не было денег. Детский дом не мог мне их дать – здесь я уже не числился. Выход нашёл Степан Разумович – он дал мне бумагу, которую я подписал задним числом. В ней стояло, что в августе, когда я уезжал в техникум, я получил не один, как было фактически, а два костюма. Вторым костюмом он взял себе, а за него дал мне денег. В детдомовской кухне мне наварили мяса и залили его жиром в литровых банках, напекли сухой выпечки.

С билетом на поезд тоже было непросто. Начальник Кленовского разъезда, хоть и с трудом, но забронировал место на проходящий поезд. Но было неизвестно, куда выписывать билет. По железнодорожным справочникам и по карте, висевшей в кабинете начальника, в Карагандинской области не было города Темир-Тау. Начальник предложил выписать билет до города Темир-Тау, который находился в Кемеровской области.

- Возможно, в письме перепутали области, - сказал он.

Но я не согласился:

- Дайте мне билет до Караганды, а с моими детдомовскими документами меня любая милиция доставит к отцу.

Вручая мне билет, начальник разъезда предупредил, что в Петропавловске я должен буду сделать пересадку.

На разъезде меня провожал Степан Разумович. Подошёл поезд, Степан Разумович помог мне с моим зелёным чемоданом забраться в вагон и поезд сразу же тронулся.

Я прошёл в вагон и занял место, указанное проводником. За окнами проплывали знакомые места, покрытые лесом горы. Поезд набирал ходу, вагон слегка раскачивало, мерно стучали колёса. И только теперь я почувствовал, что уезжаю насовсем, что детдомовская жизнь и всё, что с ней было связано, и плохое, и хорошее, остались позади. И было неизвестно, что ждёт меня там, куда я еду.

На подъезде к Свердловску я случайно узнал, что поезд, на котором мы едем, не проходит через Петропавловск - он идёт по северной ветке через Тюмень (начальник разъезда ошибся и дал мне билет не на тот поезд). Пришлось поспешно сойти. На вокзале было много народу, люди часами, а то и сутками

стояли в очередях у касс. Но мне удалось в тот же день получить место на поезд, проходящий через Петропавловск.



С этим "документом" детдомовца я был во всех поездках.

На вокзале Петропавловска народу было ещё больше. В одной из длинных очередей я познакомился с двумя парнями, которые ехали в Балхаш. Они были старше меня, да и вид их был довольно подозрительный, но меня это не пугало - взять у меня было нечего, а в компании дорога проще. Когда один из нас отлучался (днём – сходить поесть, сбегать в справочную или в туалет, а ночью – немного поспать), остальные караулили очередь. Только на другой день мы получили места на нужный поезд.

В Караганду мы ехали без особых приключений. Меня волновал вопрос – существует ли там, куда я еду, город Темир-Тау? Уже недалеко от Караганды я узнал, что такой город есть (год назад так называли посёлок Самаркандский) и что мне нужно сходить на разъезде Солонички.

Поздно вечером я сошёл на разъезде Солонички. Вместе со мной сошёл молодой парень и несколько больших семей. Эти смуглые черноволосые люди показались мне цыганами, но парень-попутчик (он оказался местным) сказал,

что это чеченцы или ингуши, высланные с Кавказа во время войны. С ними был вербовщик, откуда-то их перевозивший в Темир-Тау.

На разъезде выяснилось, что железную дорогу на Темир-Тау недавно закончили реконструировать, но ещё не сдали в эксплуатацию, и изредка туда ходят товарные поезда, и то с малой скоростью.

Ночь мы провели в маленьком здании разъезда. Утром вербовщик проявил бурную деятельность и вскорости его горцы забирались на товарный поезд, отправлявшийся в Темир-Тау. Большая их часть расположилась в крытом вагоне с каким-то грузом, а остальные – на открытой платформе с шамотным кирпичом. Мы с парнем тоже пристроились на этой платформе.

Здесь я впервые услышал (не по радио или в кино, а «вживую») многоголосное пение горцев, и не каких-нибудь артистов, а простых людей. Их красивая печальная песня, доносившаяся из соседнего вагона, так отвечала моему тревожному настроению.

Поезд шёл очень медленно с остановками в открытом поле. До Темир-Тау, до которого было километров тридцать, мы добирались несколько часов.

С обеих сторон лежала сухая степь, простиравшаяся до самого горизонта. Уже на подъезде к Темир-Тау показалось огромное водохранилище. Пошли большие огороды, на некоторых работали пленные японцы в желтовато-зелёной форме. Появились какие-то бараки, заводские постройки и поезд прибыл на конечную станцию. На вагончике, который стоял вместо вокзала, было написано «Темир-Тау».

До центра пришлось идти пешком и до него я добрался только к концу дня. Спрашивая у прохожих милицию, я дошёл до старой части города, состоявшей из сплошного ряда низких землянок. Для меня, жившего в Сибири и на Урале, где в любой деревне стояли высокие деревянные дома, всё это было непривычным и в наступавших сумерках казалось враждебным. К тому же меня несколько раз направляли в противоположные стороны, так как городская милиция два дня назад переехала на новое место и не всякий об этом знал. К зданию милиции я подошёл, когда совсем стемнело.

Начальник милиции просмотрел мои документы и сказал, что мне надо не сюда, а в какую-то «комендатуру». Он долго объяснял, как её найти, и для ориентира посоветовал держаться старой узкоколейки. В полной темноте

(освещения не было) я углубился по этой узкоколейке в район землянок и понял, что, если я её оставлю, то совсем потеряюсь. По ней же я вернулся к милиции и расположился на ночь на скамейке, благо, что погода была тёплая. Скамейка стояла недалеко от входа в милицию и было видно, как входят и выходят милиционеры, какие-то люди в штатском. Подошёл дежурный и сказал, что здесь нельзя находиться. Но уходить мне было некуда. Видимо, обо мне доложили начальнику, потому что он позвал меня в кабинет. Узнав, что я не нашёл комендатуру, он предложил на ночь стоявший в углу пустой стол, которому ещё не нашлось, видно, места в новом здании.

Заперев мои бумаги в сейф, он ушёл, а я улёгся на стол и проспал на нём до утра.

Когда начальник милиции утром пришёл, я уже не спал. Он спросил откуда я, где мне приходилось быть. Потом он куда-то позвонил и вскорости пришёл высокий человек в военной форме. Это был Габуренко, комендант местной спецкомендатуры.

- Ты сын Ивана Давидовича? Пойдём, я отведу тебя к нему.

И он повёл меня в артель «Заря», где, как он сказал, работает мой отец. Мы вошли в большой двор, в глубине которого находился колбасный цех. Войдя в цех, Габуренко громко сказал:

- Иван Давидович, я привёл тебе сына!

Тут я увидел отца. Он показался мне меньше ростом, очень худым, с сильной проседью. Мы обнялись.

Подошли работавшие в цехе женщины, о чём-то спрашивали. Отец выглядел несколько растерянным - он ждал ответа на запрос комендатуры, а я явился сам.

Он попросил меня подождать. Открыли коптильню и из неё стали выкатывать деревянные стеллажи с готовым сервелатом. Работая, женщины жалостливо поглядывали на меня, охали, разговаривая между собой. Грязный и измятый за долгую дорогу, я действительно выглядел не ахти. Я сидел и думал, что хорошо бы, чтобы и мама была здесь в Темир-Тау. Но отец ничего не говорил и помогал выкатывать стеллажи. Одна из женщин предложила мне палку ещё горячего сервелата. Колбаса была такой душистой и вкусной, а я был такой голодный, что я не заметил, как съел всю палку. В цеху ещё долго вспоминали, каким голодным

приехал сын Ивана Давидовича. Но от свежего, ещё горячего сервелата не отказался бы, я думаю, и менее голодный человек.

По дороге к себе домой отец как-то мялся, говорил, что с мамой у него ещё раньше были проблемы, что, где она сейчас, он не знает и что у него живёт одна женщина. Мы пришли на квартиру, которую он снимал в частном доме, и там он познакомил меня с тётёй Марусей, ставшей теперь моей мачехой.

20. ТЕМИРТАУ – ЖЕЛЕЗНАЯ ГОРА

Трудармейские лагеря закрыли только в 1947 году, через два года после окончания войны, и российским немцам предложили на выбор – или они остаются там, где находятся их лагеря, и туда же приезжают их семьи или они возвращаются в места, куда их выслали. Остаться на лесоразработках отец не захотел, а возвращаться в Красноярский край ему было не к кому – мама, с которой уже произошёл разрыв, находилась где-то в Бурят-Монголии, а где находился я, он не знал. И ему разрешили ехать в Казахстан, в молодой город Темир-Тау, где нужны были рабочие руки.

В переводе с казахского «Темир-Тау» означает железная гора. Название оправдывалось тем, что в городе действовал сталелитейный завод и намечалось строительство крупного металлургического комбината. Железных гор там, конечно, не было, но были горы, похожие на уральские. Ребятам в детдом я потом писал: «Здесь такие же горы, как у нас, только лысые».

Молодой город быстро рос – строились промышленные объекты, жилые кварталы. Как всегда на таких стройках, в городе было несколько лагерей ГУЛАГА, среди которых был лагерь для японских военнопленных, который вскоре закрыли.

Приехав в Темир-Тау и встав на учёт в спецкомендатуре, отец пошёл работать путевым рабочим. В спецкомендатуре узнали, что он имеет опыт работы по изготовлению колбас (в двадцатые годы в Ташкенте он действительно работал подмастерьем в колбасной артели). Его вызвали и сказали, что ему поручается организовать колбасное производство. Он активно взялся – в одном из помещений тогдашней артели «Заря» сложил печь-коптильню, подобрал оборудование и колбасный цех заработал. Колбасу, которую выпускал этот цех, в городе знали – она всегда была лучше привозной. И когда намечались важные мероприятия (партийные конференции, торжественные собрания), городское начальство, знавшее отца как превосходного мастера, обращалось к нему и он несколько ночей оставался в цеху и сам изготавливал колбасные деликатесы для начальственных буфетов.

Тётя Маруся, моя мачеха, приехала сюда тоже в 1947 году, спасаясь от голода на Украине. Это была крупная грубоватая женщина лет тридцати, говорившая

на смеси украинских и русских слов. Она не работала, занималась домашним хозяйством - они держали пару свиней, а потом завели и корову.

Для меня здесь многое было непривычным, особенно в первое время. До этого я жил в ребячьих коллективах, рядом были товарищи, вместе с которыми мы переживали все наши мальчишеские события. Здесь я пошёл в школу, в восьмой класс, но мои одноклассники жили в другой части города, у них была своя компания, а я на нашей окраине оказался один. И мои домашние, в отличие от детдомовских воспитателей, были далеки от моих школьных дел, многое, что меня интересовало, о чём я читал в книгах или узнавал от учителей, было им непонятно.

Жизнь моя стала довольно однообразной. В школу я уходил в обед, во вторую смену. С утра шёл в центр города за хлебом, где подолгу выстаивал в очередях. Вернувшись, я садился за уроки. Некоторых учебников у меня не было и иногда приходилось идти к ребятам через весь город.

Времени на домашние задания часто не хватало, но я как-то справлялся и проблем с успеваемостью у меня не было. А вечерами я читал книги, которые брал в библиотеке клуба строителей, расположенного недалеко от нас.

Вся эта моя возня с книгами и тетрадками раздражала тётю Марусю.

- Такой лоб, и не работает, - повторяла она. – Всё романами занимается (с ударением на «о»)!

Но отец, сам малограмотный, научившийся кое-как писать уже взрослым, считал, что я должен получить образование, и не обращал внимание на её ворчание.

Семейная жизнь у них была какой-то странной. У каждого из них был свой шкаф, который они тщательно запирали друг от друга. Отец никогда не посвящал её в свои дела, не говорил о чём-нибудь серьёзном - их разговоры касались только домашних дел. Когда отец приходил с работы, она так подробно перечисляла сделанное ею за день, что иногда мне хотелось сказать:

- Не забудьте добавить, что один раз переставили табуретку!

Так прошло три года. Я закончил восьмой, потом девятый класс и уже учился в десятом классе. За эти годы наша школа №1 так и не стала для меня «родной». С одноклассниками у меня были ровные отношения, но в школе тон задавали ученики из «богатеньких», как мы считали, семей. Это были отпрыски разного

уровня «начальства». Держались они всегда вместе, свысока, как мне казалось, поглядывая на остальных. Одевались они лучше нас, у некоторых были даже костюмы. Я из-за этого особенно переживал, так как ходил в фланелевых шароварах и в такой же куртке. Все эти сынки казались мне «лощёными» и возле них я чувствовал себя неуютно.

Возможно, что всё это я ощущал слишком обострённо, возможно, что это был подростковый максимализм. Как бы там ни было, но в школьной жизни я практически не участвовал и после уроков старался поскорее уйти домой.

А учиться мне нравилось. Во многом это было заслугой наших учителей, разными путями заброшенных в эти края. Интеллигентная, тонкая по натуре Нина Николаевна увлечённо вела у нас уроки литературы. Благодаря ей, многие из нас знали и любили литературу. Даниил Борисович, энергичный кореец, как-то по своему учил нас математике. Вот один из его приёмов – на обычном уроке он вдруг объявлял блиц-контрольную без выставления оценок. Такой «блиц» превращался в соревнование, где каждый старался опередить другого. Завуч школы Валентина Александровна так обстоятельно вела уроки по химии, что химия стала моим любимым предметом и я мечтал стать химиком. Но особенно мы любили Георгия Автономовича, учителя истории и географии, фронтовика со шрамами на лице. Он уважительно относился к ученикам, и на его уроках всегда было интересно. Иногда вместо опроса он проводил что-то вроде международной конференции, выясняя наше мнение о причинах какого-нибудь события столетней давности. И быть не в курсе было просто стыдно. На уроках он размышлял вместе с нами, делился своими мыслями. А некоторые из них меня поражали. Он, например, говорил, что массовое изгнание мусульман-арабов, в основном, ремесленников, было началом заката процветающей Испании. Или такое – после первой мировой войны промышленность Германии быстро развивалась потому, что была разрушена и восстанавливалась по более современным технологиям.

Спустя годы я с удивлением узнал, что он не был ни историком, ни географом, а был учителем химии.

А дома всё оставалось по-прежнему. За эти годы отец пару раз оставался без работы (закрывали организованные им производства по указанию из области). В эти короткие периоды отец посылал меня на базар продать что-нибудь из его

одежды (пальто, сапоги и т. п.). И ещё - за эти годы у отца с тётёй Марусей было несколько крупных скандалов, во время которых она, к моей радости, уходила к своей сестре, тоже приехавшей в Темир-Тау. Но, к моему сожалению, она каждый раз возвращалась.

Глухая неприязнь между мною и мачехой постоянно давила меня, и я не мог дожждаться часа, когда я смогу уехать из этого дома. А уехать я мечтал в институт, я собирался учиться дальше.

21. Я - ГОРНЯК

Школу я окончил (и вполне прилично) в 1951 году. К выпускному вечеру мы готовились обстоятельно, даже нашли средства для праздничного стола - сдали целый грузовик металлолома, собранного на территории одного из заводов. Выпускной вечер прошёл торжественно и весело, много танцевали, пели. Особенно дружно распевались дорожные и студенческие песни.

Одноклассники вскоре разъехались по городам поступать в институты, в университеты. Школьная подготовка у нас была неплохая, и почти все они учились потом в Москве, в Новосибирске, в Новокузнецке, в других городах.

Только мы, трое немцев, не смогли уехать - нас не выпустила спецкомендатура. Нам сказали, что максимум, на что мы можем рассчитывать, это поехать в Караганду или ещё куда-нибудь в пределах Карагандинской области, и то, если разрешит областное МВД.

Караганде был только один институт – медицинский. Разрешат нам туда поступать или нет, мы не знали, но желания стать медиками у нас не было («всю жизнь в больнице»). Для нас оставались техникумы, для которых достаточно было семилетней школы – получается, что три последних года мы учились напрасно.

Не послушавшись коменданта, мы послали документы за пределы Карагандинской области - в горно-металлургический техникум города Щучинск (в названии специальности нам понравилось слова «цветные металлы»). Наши документы скоро вернулись с припиской, что мы не приложили аттестаты зрелости, хотя эти аттестаты лежали тут же в конвертах. Таким способом нам просто отказывали.

Мы сделали вторую попытку – послали документы в Караганду, в горный техникум. Там документы приняли - видимо, сочли, что таким, как мы, работать на шахтах можно. И здесь нам повезло – нас приняли сразу на третий курс, в одну из только что организованных групп «десятиклассников» (для имевших, как минимум, десятиклассное образование). На шахтах остро не хватало специалистов, а в Караганде и в области скопилось много репрессированной молодёжи, путь в институты для которой был закрыт. Группы «десятиклассников» и были созданы для того, чтобы из этой молодёжи ускоренно готовить шахтных специалистов.

Шахтёрский город Караганда возник в начале тридцатых годов одновременно со строительством первых угольных шахт. Здесь были посёлки Фёдоровка, Михайловка, Тихоновка, Майкудук, в начале века основанные крестьянами, приехавшими из центральной России в поисках лучших земель. Посёлки оказались в городской черте и стали городскими районами. Нужны были рабочие руки и возникли лагеря ГУЛАГА, эшалонами стали привозить «раскулаченных» крестьян.

Одновременно с шахтами строились, в основном, бараки и типовые землянки. Во время войны шахты строились особенно бурно и сюда нагнали много народу, больше всего спецпереселенцев – сначала советских немцев, а потом кавказцев. Вокруг шахт стихийно возникали горняцкие посёлки с кривыми улочками и грязными землянками. Эти посёлки, вместе с многочисленными шахтами и застройками тридцатых годов, образовали основную часть тогдашней Караганды – Старый город.

В стороне от Старого города, как остров в сухой степи, расположился Новый город с прямыми улицами и многоэтажными домами. К нашему приезду в нём было десятка полтора зданий. Здесь же находилось несколько учебных заведений и среди них горный техникум.

Карагандинский горный техникум считался одним из лучших в угольной отрасли. Здесь были хорошие аудитории, неплохо оборудованные лаборатории и учебные мастерские. Преподавателями были профессора и доценты из немцев-спецпереселенцев и политических ссыльных. Производственную практику студенты проходили на ближайших шахтах.

На шахтах выпускников техникума ценили и часто брали на работу охотнее, чем выпускников каких-нибудь столичных институтов.

Я стал студентом-горняком. Группа, куда меня зачислили, называлась РУМ-51Д, что означало - «разработка угольных месторождений, 1951 год, десятиклассники». Состав группы был очень разный. Были вчерашние школьники (вроде меня), и были тридцатилетние, уже пожившие, как мы считали, люди, когда-то учившиеся в институтах. И большую часть группы составляли немцы-спецпереселенцы.

Студенческое общежитие, где я стал жить, размещалось в большом трёхэтажном здании. Оно было неплохо оборудовано, чистоту и порядок в нём

поддерживал специальный персонал. Общежитие считалось лучшим в городе, что объяснялось просто – техникум был достаточно «богат», потому что содержался на средства угольной промышленности.

Наша комната была на шесть человек. Кроме меня, здесь был студент из нашей группы, когда-то учившийся в московском Литинституте и недано отбывший ссылку в Сибири, были два геолога-второкурсника, один – с повреждённым глазом, родом из Заполярья, где он прошёл через приключения, каждое из которых могло закончиться тюрьмой, другой – высокий блондин из Подмосковья, мальчишкой много бродяжничавший на поездах. Однажды он добрался до Владивостока, но на обратном пути его задержали в Биробиджане (главном городе Еврейской автономной области). Рассказывая об этом, он возмущался:

- Ты, понимаешь?! Там даже милиционеры евреи!

И были два первокурсника-казаха. Приехавшие из степной глубинки, они вскорости куда-то исчезли – или бросили учёбу или перевелись в другой техникум. Один из них что-то слышал о «городском обхождении», потому что, сказав: «Извини!», он мог оттолкнуть стоявшего на пути или бесцеремонно взять нужную ему вещь, например, чертёжный инструмент. Когда ребята возмущались, он удивлялся:

- Я же сказал: «Извини», что ещё надо?

Старший брат второго первокурсника работал в каких-то «органах». Этот работник органов несколько раз приходил к нам в полной офицерской форме и просил помочь брату в учёбе. Но выполнить эту просьбу мы были не в силах – его братец был настолько слаб, что казалось, что он никогда не учился в школе. Этот первокурсник удивил нас и тем, что брился пуговицей. Его бритвенный прибор был несложным – два конца толстой нити он продевал через большую пуговицу от пальто и потом их связывал. С двух сторон натягивая и отпуская нить, он раскручивал пуговицу то в одну, то в другую сторону. Сдвоенная нить тоже скручивалась то в одну, то в другую сторону и, когда ею водили по лицу, она захватывала и выдёргивала редко встречающийся волос.

Началась наша студенческая жизнь. Нам сшили горняцкую студенческую форму – чёрную куртку с «золотыми» пуговицами и чёрные брюки, выдали форменную чёрную шинель и фуражку с «молотками». Мы носили эту форму с

гордостью, она была и повседневной, и парадной (другой приличной одежды у нас просто не было).



**Карагандинский горный техникум. В аудитории.
Фото 1952 г.**

Наших преподавателей я вспоминаю с благодарностью. Они не только глубоко знали и ярко преподавали свои предметы, они воспитывали нас своей манерой обращения и даже своим внешним видом. Горную электротехнику у нас преподавал представительный пожилой немец. Во время перемены я по школьной привычке хотел заглянуть в лежащий перед ним журнал с оценками. Повернувшись ко мне, он сказал:

- Молодой человек, нехорошо читать чужие записи.

Я смутился, а он, улыбнувшись, сказал:

- Ничего, ничего, вы не виноваты, виновато ваше воспитание.

У многих студентов были, как теперь говорят, своё хобби. Кто-то увлекался спортом и пропадал в спортивном зале, кто-то часами просиживал за

шахматами, некоторые участвовали в художественной самодеятельности, которая в техникуме была очень сильной. В эстрадном оркестре, например, у нас играли студенты, имевшие музыкальное образование. А в струнном оркестре, где я играл на домре-приме, некоторые ребята были просто виртуозами.

До участия в струнном оркестре я пробовал учиться игре на баяне (по самоучителю). Какие-то вещи я уже играл, но дальше дело не пошло - моя пальцовка была поставлена для игры на гармошке, а самому переучиваться было трудно.



**В Карагандинском горном техникуме я увлёкся фотографией.
Фото 1951 г.**

На первую стипендию я приобрёл простенький фотоаппарат «Комсомолец» и увлёкся фотографией. Снимки получались небольшого формата (шесть-на-шесть, как мы говорили). Потом я купил ещё такой же

фотоаппарат, а из первого сделал широкоплёночный увеличитель. Я убрал у него заднюю крышку, на её место положил несколько слоёв самодельного «матового» (натёртого наждачкой) стекла. Фотоаппарат закрепил в горловине бидончика из белой жести, а через его дно пропустил шнур с электролампой. В учебной мастерской мне помогли сделать кронштейн из водопроводных труб. Увеличитель получился довольно грубым, но он функционировал – я мог делать позитивы любого формата.

Фотографии я печатал по ночам и для глянцевого блеска наклеивал их мокрыми на оконные стёкла. По утрам нас будил треск отскакивающих от стёкол фотографий, высушенных ранним солнцем.

На деньги, заработанные на первой производственной практике, я купил малоформатную камеру ФЭД и старый увеличитель. Качество моих снимков улучшилось, я стал даже зарабатывать фотографией. Обо мне заговорили как о хорошем фотографе и приходили «сниматься» целыми группами. Но мой секрет был прост – я никогда не отдавал плохие фотографии, говорил, что снимки не получились, и повторял съёмку.

В сентябре 1952 года у меня была первая производственная практика. Проходил я её на очень старой шахте «19-основная». Нас, двух студентов, включили в бригаду проходчиков, проходивших главный штрек – большую горную выработку. Часть забоя проходили по углю, часть – по крепкому песчанику. Электросвёрлами («баранами») мы бурили шпурсы, вместе с запальщиком заряжали их взрывчаткой и потом взрывали. Взорванную горную массу грузили лопатами в вагонетки, которые вручную откатывали к наклонному стволу. С помощью «баранчика» (тросика со штангой, на конце которой был крючок, напоминавший поросячий хвост) мы цепляли вагонетки за постоянно движущийся «бесконечный» канат, который поднимал их на поверхность. Потом крепили забой (ставили П-образные рамы из толстых брёвен) и цикл повторялся – бурились шпурсы, их взрывали и т. д.

Нам, юнцам, не имевших нужных навыков, работать в забое было трудно и особенно было тяжело грузить породу лопатой. Мы обратили внимание на стоявшую без действия углепогрузочную машину (похожую на теперешнюю снегоуборочную машину). Неисправность оказалась несложной, машину мы починили и остаток смены грузили породу только ею. В другие две смены

машина, не рассчитанная на крепкий песчаник, ломалась, но мы опять чинили и продолжали механическую погрузку. Так повторялось много раз.



**На производственной практике.
С сокурсником только что из шахты.
Фото 1952 г.**

Потом нас, студентов, перевели на проходку водосборника, небольшой выработки по углю. Технология работ была такой же, только гружёные вагонетки откатывались к стволу конной тягой. Для этого у нас была небольшая лошадь. Когда вагонетки не откатывались, лошадка мирно, как где-нибудь в деревне, жевала в сторонке душистое сено. Раз в неделю её выводили на поверхность по старому наклонному стволу. В стволе нередко свисали сломанные верхняки (деревянные брёвна), о которые лошадь иногда ударялась. На голове у лошади была фибровая шахтёрская каска с прорезями для ушей, которая её защищала.

Шахтёрские смены длились тогда по восемь часов, а, с учётом процедур на поверхности (выслушивание наряда, получение и сдача шахтёрских ламп и самоспасателей, мытьё в шахтёрской бане) и с учётом времени на длительный пеший спуск и на ещё более длительный подъём по полуразрушенному наклонному стволу, фактическая длительность смены достигала десяти часов и более. Но я был молод и, по всей видимости, полон сил, потому что втянулся в шахтёрскую работу, не стал уставать и в конце практики мне даже нравилось работать проходчиком.

На второй, уже преддипломной, практике я работал подменным мастером на шахте Кирова. В лаве, где добывали уголь, я подменял горных мастеров в их выходные дни или дежурил в ремонтные смены. Для меня здесь были другие трудности – приходилось на ходу учиться управлять конкретным производством, нередко ошибаясь, особенно вначале. Но мне подсказывали бригадиры, а опытные шахтёры сами делали всё правильно.



**Наша группа РУМ-51Д на Фёдоровском угольном разрезе. Я на самом верху.
Фото 1953 г.**

На карагандинских шахтах, особо опасных по газу и угольной пыли, довольно часто происходили взрывы метана, обвалы, пожары и всё с

человеческими жертвами. Мы об этом знали, но под землёй об опасностях совсем не думалось.

22. «ОГРАНИЧЕНИЯ»

Когда в детдоме я узнал, что меня разыскивает какая-то «комендатура», в этом слове мне слышалось что-то романтическое. Из книг я знал, что есть военная комендатура, есть комендатура Кремля, у Пушкина я читал о коменданте крепости. И встречи с разыскивающей меня «комендатурой» я ждал с интересом.

Комендант, которого я увидел в Темиртау, не разочаровал моих ожиданий – этой был высокий подтянутый военный. Какой комендатуры он комендант я не знал, о существовании какой-то «спецкомендатуры» не имел представления.

Через месяц после моего приезда, в начале ноября 1948 года наступило моё совершеннолетие - мне исполнилось 16 лет. В местной милиции вместо паспорта мне выдали справку об удостоверении личности – каждые полгода её надо было обновлять. В спецкомендатуре меня поставили на учёт (на «отметку», как тогда говорили) и сказали, что теперь я каждый месяц должен приходить сюда «отмечаться».

Для меня всё это было полной неожиданностью и после вольной детдомовской жизни подействовало на меня угнетающе. Потом, конечно, пришлось свыкнуться (как привыкает пёс к своей цепи), но внутренний протест к этой несправедливости (никаких преступлений я ведь не совершал) остался у меня на всю жизнь.

Ещё в Сибири, когда мне не было и десяти лет, я уже понимал, что наше выселение и все наши беды происходят из-за того, что у нас такая же национальность, как и у тех, кто воюет против нашей страны. Потом я стал постарше и стал понимать, что трудно не только нам, трудно всем и всё из-за того, что идёт страшная война. Война закончится, думал я, и всё будет так же, как до войны. А теперь, когда после войны прошло уже три года, для нас, оказывается, не только ничего не изменилось, но всё стало хуже – режим ссылки становился всё жёстче и жёстче. В сорок пятом для спецпереселенцев ввели спецкомендатуры, а в год моего приезда в Темир-Тау вышел указ, в котором было объявлено, что нас выслали навечно и что каждый, кто выйдет за пределы места проживания, получит 20 лет каторжных работ.

Ещё одной мерой ужесточения было введение, так называемых, «десятидворок». Я был школьником, учился в десятом классе, когда

«десятидворкой» назначили меня. Каждую неделю я должен был приходить в комендатуру, чтобы отчитаться, на месте ли ссыльные и спецпереселенцы, живущие на нашей улице. Приходилось делать поквартирные обходы и это было самым неприятным. Подходишь к квартире какого-нибудь поселенца, стучишься, хозяева открывают и, увидев меня, мальчишку-проверяющего, мрачнеют. Я о чём-то их спрашиваю, они отвечают, но я чувствую - они ждут, не дожидаясь, когда я уйду. Идёшь к следующему поселенцу и там всё повторяется...

Однажды меня срочно вызвали к коменданту, который встретил меня с криком, с угрозами посадить в тюрьму. Из его крика я понял, что сбежала молодая немка, живущая на нашей улице. Накричавшись, комендант встал, надел шинель и, как я понял, повёл меня в тюрьму. Мы вышли в коридор, где группа женщин ждала приёма к коменданту. Я шёл потрясённый, бледный, как стена, и по моему виду женщины поняли, что меня за что-то наказывают. Они обступили коменданта:

- Куда Вы ведёте мальчишку? Что он такого сделал?

То ли эти женщины помогли, то ли комендант хотел меня просто попугать, но он развернулся и ушёл в кабинет. Женщины о чём-то спрашивали, но я не мог отвечать и пошёл домой.

Потом, конечно, выяснилось, что «сбежавшая» никуда не сбегала, а просто съездила без разрешения в Караганду на базар.

Спецкомендатура имела большую власть над нами, своими «подопечными». Комендант, при желании, мог любому из нас испортить жизнь. Мог навязать какую-нибудь дополнительную обязанность (как это было со мной), мог не дать разрешения на выезд за пределы города (на дальний сенокос или на базар), мог направить на тяжёлую или вредную работу и т. д. А когда спецпереселенец работал в местах, где можно было пожить (на торговом складе, в магазине, на мясокомбинате и т. п.), комендант пользовался своей властью для постоянных поборов. Он регулярно приходил к отцу в колбасный цех и бесплатно нагружался там мясом и колбасой. Видимо, ему однажды не доложили (его требования не всегда можно было выполнить) и, чтобы усилить давление на отца, он и назначил меня, подростка, «десятидворкой».

«Десятидворкой» я пробыл около полгода, до самого отъезда в Караганду. Все эти полгода я вынужден был «отмечаться» не каждый месяц, как все спецпереселенцы, а фактически каждую неделю.

Когда в августе 1951 года я приехал в Караганду и поступил в техникум, в спецкомендатуре Нового города нас сразу же поставили на учёт. Комендантский режим здесь был ещё жестче, чем в Темиртау. Было запрещено не только выходить за черту города, но даже посещать другие городские районы. В магазинах тогда мало что можно было купить, всё покупали на вещевом рынке, который находился в другом районе, в Старом городе. Приходилось ездить на рынок тайком, и эти «незаконные» поездки могли обернуться для нас большими неприятностями.



**Завтра экзамен. Я в центре, Наум - крайний справа.
Трое из пяти студентов спецпереселенцы, один - после ссылки.
Фото 1952 г.**

Комендатура постоянно нас контролировала, и в одно из воскресений проверяющие не нашли в общежитии нас с Николаем Кариусом (мы как раз были на вещевом рынке). На следующий день они специально пришли, чтобы

допросить нас - где мы были вчера? Пришлось изворачиваться, что-то придумывать.

Стипендии не хватало и многие студенты ездили к родителям за продуктами. Для студентов-спецпереселенцев такие поездки оказывалась целой проблемой. Поездка в Темиртау считалась «поездкой в другой город» (хотя до Темиртау было всего 30 километров) и получать разрешение мы должны были не в районной спецкомендатуре, а в областном управлении МВД. Заявления мы подавали заранее, почти за неделю, но с выдачей разрешения обычно затягивали, и я часто не успевал на поезд. Автобусного сообщения не было, приходилось добираться на попутных грузовиках. Иногда мы уезжали, не дождавшись разрешения, но тоже на попутках (на железной дороге могли задержать при проверке документов).

После смерти Сталина режим спецкомендатур стал ослабевать. Нам выдали настоящие паспорта, в которых, правда, стояла большая печать с надписью: «Разрешается проживать в пределах Карагандинской области». Эту печать все называли «ограничением».

Спецкомендатуру окончательно ликвидировали в 1956 году. Нам выдали чистые, без прежней печати, паспорта, но обязали подписать бумагу, в которой ставили в известность, что нам запрещено возвращаться в места, откуда нас высылали. Иными словами «ограничения» (и не только в этом) остались, мы продолжали быть людьми второго сорта.

После всего этого у меня навсегда осталась ненависть к режиму, в котором нам пришлось существовать ещё несколько десятилетий. В период «оттепели» мне даже предложили вступить в коммунистическую партию – это, конечно, помогло бы мне в карьере и облегчило бы жизнь. Но я под разными предлогами отказался – я хорошо знал, что это за «партия».

И все эти десятилетия я жил со стремлением доказать, что я не человек второго сорта. И очень надеюсь, что мне это удалось.

23. НАУМ КОРЖАВИН

Когда группа РУМ-51Д собралась в первый раз, я обратил внимание на странного парня в сером свитерке - невысокого роста, с крупной головой на узких плечах, с большими очками на мягком лице. Он как-то неловко двигался и при быстрой ходьбе излишне размахивал руками. Парень был старше меня (мне было восемнадцать, а ему - двадцать пять).

Непрезентабельный его вид резко контрастировал с чёткой выразительной речью. Первое, что пришло мне в голову – это «говорок», языкастый лагерник (таких я встречал). Он подошёл, мы разговорились. Оказалось, что он москвич, бывший студент Литературного института и зовут его Наум Мандель (теперь он известен как поэт Наум Коржавин). В Москве его арестовали, сколько-то времени он провёл в тюрьме, потом сослали в Сибирь. После ссылки ему не разрешили вернуться в Москву и он приехал в Караганду (где-то здесь жил его «дядька», как он говорил). Кроме, как писать стихи, он ничего не умел, специальности у него не было и он поступил в горный техникум, где давали стипендию и место в общежитии.

В Караганде находилось много политических ссыльных и среди них была группа столичной молодёжи, знавшей Наума ещё по Москве. Это были студенты, журналисты, молодые учёные. Все они жили в землянках Михайловки, недалеко от Нового города, который уже тогда был культурным центром Караганды. Когда Наум поселился в студенческом общежитии, молодёжь потянулась к нему на «огонёк» и допоздна засиживались в нашей комнате.

Когда я познакомился с ними поближе, мне открылся другой, незнакомый мне мир. Я с интересом слушал, как они рассказывают о Москве, вспоминают общих знакомых, среди которых были известные люди. Говорили и часто спорили о литературе.

Некоторые их привычки казались мне странными. Взрослые люди, они называли друг друга детскими именами. Наума, например, они звали Эмкой (от имени Эммануил), Александра Есенина-Вольпина - Аликом, журналиста Юрия Миронова – Юркой. У молодой женщины, у которой недавно арестовали мужа, было загадочное имя Вавка. Кстати сказать, меня, мальчишку, всегда волновал её облик - в нём было что-то загадочное, блоковское. Вот сцена в нашей комнате –

стройная, в узком чёрном платье, с тонкими чертами лица, она сидит в стороне от всех и задумчиво курит папиросу, держа её тонкими пальцами. Позднее у нас появилась Зайка, молоденькая студентка-москвичка, похожая на стройную южную казашку. Это была Заяра Весёлая, младшая дочь писателя Артёма Весёлого, расстрелянного в тридцатые годы.

Я тоже называл их детскими именами, но звать Наума по девчоночьи Эмкой мне казалось несуразным. И в последующие годы московские друзья продолжали звать его Эмкой, но для меня он всегда оставался Наумом - в какой-то мере в память о нашей с ним карагандинской молодости.

Иногда к нам приходил Алик Есенин-Вольпин (сын Сергея Есенина). Светловолосый худощавый молодой человек несколько болезненного вида, он был мало похож на своего отца. Несмотря на молодость, он был уже кандидат наук (в каких-то заумных областях математики). Зная это, я донимал его тоже «заумными» вопросами, вроде - что такое теория относительности или как понимать четвёртое измерение.

Осенью 1951 года в местном ресторане мы отмечали день рождения Наума. Нас было несколько студентов и с нами был Алик. Выпив цимлянского, он преобразился, его лицо посвежело и он стал удивительно похож на Сергея Есенина. Мы все вместе провожали его домой, и в темноте Михайловки он читал нам свои стихи (что-то про одинокий корабль в бушующем море).

Нас с Наумом часто видели вместе и не только потому, что мы жили в одной комнате и учились в одной группе. Мне было интересно с ним общаться - он был старше меня и знал жизнь. И ещё потому, что он литератор и поэт, и просто потому, что он умный и незаурядный человек. В наших разговорах мы затрагивали самые разные темы, среди которых были и очень серьёзные. Инициатором таких тем, чаще всего, был Наум, и он же был, если можно так выразиться, главным докладчиком. И понятно почему - ему надо было поделиться своими мыслями, так как от литературной среды он был оторван, от читателей изолирован (первый его сборник вышел только через десять лет).

Литературу я знал только в объёмах школы и от Наума узнавал много такого, о чём раньше не имел представления. Когда он говорил о литературе, для него не существовало авторитетов и на всё у него было своё, ни от кого не зависящее мнение. Он мог, например, сказать, что у Некрасова какие-то стихи

недоработаны или мог нелестно отозваться о модном поэте. Он рассказывал о встречах с известными поэтами и писателями. Откуда-то он принёс сборник стихов Сергея Есенина, изданный ещё в двадцатых годах, и многие есенинские стихи я прочитал тогда впервые. У меня был двухтомник Маяковского, которого я любил ещё со школы, томик Блока. Стихи этих и других поэтов часто звучали в нашей комнате. Он читал мне свои стихи прошлых лет, показывал вновь написанное.



**Студент горного техникума Наум Мандель (Коржавин).
Фото 1953 г.**

В наших разговорах не обходили мы и политику. О советском режиме, о карагандинских его несуразностях Наум говорил с таким возмущением, что приходилось его останавливать, особенно, когда рядом были посторонние. Таким явлениям, как массовые репрессии, борьба с космополитизмом, «дело врачей», он давал свои оценки, которые после смерти Сталина полностью подтвердились.

Как и любые студенты, попадали мы и в разные истории. Как-то в коридоре общежития мы встретили студента из нашей комнаты, который где-то напился и еле стоял на ногах. Мы с трудом затащили его комнату. Мы не заметили, что за нами наблюдал вновь назначенный комсорг техникума. По его докладу на другой день появился приказ, в котором нам троим объявлялся выговор, как говорится, «за пьянство». За такой выговор снижали оценку по поведению и автоматически лишали стипендии. Для нас и, особенно, для Наума это было катастрофой – других средств к существованию у него не было. Директор техникума, зная, что Наум московский поэт, относился к нему с уважением и с недоразумением быстро разобрались. Стипендии нас не лишили, но выговор «за пьянство» у нас остался – в острастку четырнадцатилетним первокурсникам, которые, получив первую стипендию, часто попадали в пьяные истории.

Первую производственную практику Наум проходил на одной из шахт. Он был десятником вентиляции - контролировал работу газомерщиц, производивших замеры метана в шахтном воздухе - по длине пламени в специальной керосиновой лампе, и наблюдал за соблюдением правил безопасности. Наум говорил, что на шахте не очень-то следуют этим правилам и, если так пойдёт дальше, шахта наверняка взорвётся. И, действительно, через несколько месяцев на шахте был взрыв метана, погибли люди.

Со временем о Науме узнали, в местных газетах стали печатать его стихи. Каждое их появление было для нас событием, которое мы по-студенчески отмечали.

Учиться ему было труднее, чем мне – у меня свежи были школьные знания. Да и по натуре он был настоящим гуманитарием, далёким от технических премудростей.

Как бы там ни было, Наум закончил техникум. Какое-то время он работал в карагандинской газете, потом уехал в Подмосковье, а позднее жил в Москве. В начале семидесятых его стали притеснять, и он вынужден был уехать в США.

После техникума мы с ним встречались от случая к случаю. Но наша дружеская связь, которая зародилась в студенческие годы, никогда не прекращалась.

24. ЖАРКОЕ ЛЕТО 53-ГО

Если верить известному фильму «Холодное лето 53-го», холодным было лето на Колыме, а в Караганде лето в тот год было сухим и жарким. Я проходил преддипломную практику на шахте имени Кирова. Поднимаясь из шахты после ночной смены, я вспомнил, что не ответил на последнее мамино письмо. Надо будет ещё раз написать, что, когда я закончу техникум и устроюсь на работу, я вызову её к себе.

Переписка с мамой началась где-то в январе этого года. Она разыскала мой адрес и прислала длинное, много раз сложенное в гармошку письмо. Она описала, что с ней произошло за прошедшие десять лет. В начале 43-го, после мобилизации в трудармию, её вместе с другими женщинами привезли в Бурят-Монголию. Работала она на лесоповале, а потом на свиноферме. В последние годы находилась на поселении в Улан-Удэ, работала в детском саду. В своём письме она задала мне много вопросов, спрашивала и про отца.

Я ей ответил, рассказал о своих приключениях, сообщил, что учусь в горном техникуме, после которого буду работать на шахте. Написал, что знал, и про отца. Письма от неё приходили часто, я отвечал. Мы строили планы, как она приедет ко мне и как мы будем жить вместе.

...Поднявшись на поверхность, я сдал самоспасатель и шахтёрскую лампу, помылся в бане, переоделся и на трамвае поехал в студенческое общежитие. Там меня остановила дежурная:

- Роберт, тебе звонила твоя мама. Она ждёт на вокзале в Старом городе.

Я с недоумением посмотрел на неё – она что-то напутала, я только что собирался писать маме в Бурят-Монголию.

На вокзал я, конечно, поехал, всё ещё не веря, что это действительно мама. Трамвай долго вёз меня до Старого города, потом надо было идти пешком. Был уже полдень, когда я вошёл в старое здание вокзала. В дальнем углу пустого полутёмного зала одиноко сидела невысокая, совершенно седая женщина. Я сразу понял, что это мама. С плачем она кинулась ко мне, мы обнялись...

Можно представить, что она переживала – мы не виделись десять лет, она оставила меня десятилетним мальчиком, а теперь я уже взрослый, мне шёл 21-й год. Я тоже был потрясён этой встречей.

После первых минут я спросил, где её вещи. Не переставая плакать, она сказала, что вещей у неё нет, что у неё всё пропало. Немного успокоившись, она сказала, что в дороге с ней много чего произошло, она потом расскажет.

Остановилась она у хороших, как она сказала, людей, с которыми познакомилась в поезде, и первое время побудет в их доме.

Мы направились в этот дом. Хозяевами были пожилая чета лет шестидесяти. Был ещё их сын-инвалид лет сорока с искалеченной от рождения ногой. Там же я встретился с маминым конвоиром, сопровождавшим её в дороге. Это был какой-то блеклый человек в выцветшей солдатской форме. Почему-то он всё время виновато улыбался.

Возвращаясь в общежитие, я думал о случившемся. Через несколько дней маму надо будет увозить от приютивших её людей, для этого нужно снять квартиру, а денег на это у меня нет (зарплату на шахте я получу недели через две). И как ей жить, пока я учусь, я тоже не знал.

С этими проблемами я поехал к отцу. Отец сразу же сказал, что с мамой он жить не будет - слишком много накопилось у них того, в чём они будут упрекать друг друга всю жизнь. Он дал мне денег на квартиру, и с тем я уехал.

Но квартира маме не понадобилась – в первые же дни она нашла себе работу. Она устроилась няней в детский сад, и там же ей выделили угол для жилья. Детский сад находился недалеко от нашего общежития, и мы могли часто встречаться.

Как-то я спросил, почему она приехала, не дождавшись, когда я окончу учёбу и устроюсь на работу.

- Если бы я не приехала, ты попал бы на рудники Бурят-Монголии, где люди быстро умирают.

И действительно, в Бурят-Монголии было много подземных рудников, где добывались руды цветных и редкоземельных металлов (свинца, цинка, молибдена и т. д.). Средства защиты были слабые, вредная рудная пыль быстро отравляла людей. Говорили, что на свинцовом руднике человек не выдерживал и одного года. Работали на этих рудниках заключённые и немцы-трудоармейцы, а после ликвидации трудармии на рудники стали направлять спецпереселенцев.

Когда в спецкомендатуре узнали, что её сын заканчивает горный техникум, маме сказали, что на местных рудниках не хватает специалистов и они

затребуют её сына в Бурят-Монголию. Дурная слава этих рудников была известна и, чтобы спасти меня от них, она правдами и неправдами добилась, чтобы её перевели в Караганду ещё до окончания моей учёбы.

До Караганды ей предстояло ехать поездом - неделю до Петропавловска, там сделать пересадку и ещё сутки до Караганды.

С какой-то политической целью в 1953 году была устроена массовая амнистия уголовников. Об этом много писали, остались воспоминания очевидцев (об этом же был и упоминавшийся выше фильм «Холодное лето 53-го»).

По стране разъехались тысячи воров и убийц, практически безнаказанно грабя и убивая людей. В окружённой лагерями Караганде мы это почувствовали сразу. В городе и прежде было беспокойно, но тут резко участились грабежи, убийства, случаи злого хулиганства. Даже говорили, что в городе свирепствует банда «Чёрная кошка».

Вот такое это было время, когда мама в сопровождении конвоира села на проходящий поезд «Хабаровск-Москва».

В поездах, идущих в сторону Москвы, и в обычные времена было достаточно уголовников, которые возвращались после отсидки в лагерях Дальнего Востока, Магадана, Колымы. А тут была массовая амнистия... Мама знала криминальный мир (в трудармии ей приходилось работать вместе с заключёнными-уголовниками), поэтому она быстро определила, что в поезде едет банда. За долгую дорогу в поезде было множество краж, пропадали люди. В её вагоне пропал молодой лётчик, а в его лётной форме стал щеголять один из бандитов. Мама это видела и была настороже.

Бандиты приставали к маминому конвоиру, допытывались, не из охранников ли он. Тот клялся и божился, что он демобилизованный солдат и едет домой (свои погоны он спрятал в сапоги).

Мама любила одеться поярче и в вагоне ходила в шёлковом халате. Бандиты давно к ней приглядывались, считая, что она богачка. Уголовниками они были, судя по всему, высокого класса, потому что, несмотря на всю мамину бдительность, они ночью, перед прибытием в Петропавловск, смогли украсть её чемодан. В нём были все мамини вещи, все документы и все деньги. Мама рассказывала, что её конвоир не спал и всё видел, но от страха молчал.

В Петропавловске мама сразу же отправилась в милицию, где заявила о своём несчастье. Она сказала, что в поезде орудовала банда и эта банда её обворовала. В своём заявлении она перечислила всё, что у неё украли, и описала членов этой банды.

Потом она вышла на улицу и присела на скамейку у входа в милицию. По соседству находилась городская баня и мама обратила внимание на мужчину и женщину, идущих с сумками в баню. Она сразу их узнала – они были из этой банды. Мама забежала к дежурному:

- Задержите этих двоих, это бандиты!

В сумке у задержанной женщины оказалось мамино бельё, с которым она шла в баню, и этих двоих арестовали.

Начались долгие допросы, очные ставки, в которых маме приходилось участвовать. За неделю переловили всю банду. Бандиты знали, что именно мама была причиной их провала, и постоянно клялись ей отомстить. Их мести мама боялась до самой смерти.

Бандитов поймали, но из её вещей нашли очень мало – немного белья, часть документов и облигации, которые ничего не стоили. Мама особенно переживала, что пропал костюм и наручные часы, которые она везла мне в подарок.

В Петропавловске она пробыла недели две. Всё это время её привлекали к разоблачению бандитов, которых допрашивали, обычно, по ночам. Она находилась на пределе своих сил, когда вместе с конвоиром её отправили в Караганду. Через сутки, без вещей и без денег, она, наконец, прибыла в Караганду «на соединение с сыном», как официально писалось.

* * *

Закончив практику, я написал дипломный проект и после его защиты мне торжественно вручили первый в моей жизни диплом – диплом техника по разработке угольных месторождений. Это произошло в ноябре 1953 года.

Я поступил на работу – взрывал уголь и горную породу на карагандинских шахтах. На такой работе, как у сапёров, можно было ошибиться только один раз...

Впереди была такая непростая взрослая жизнь.

<< >>

ЧТО БЫЛО ПОТОМ

Работа на шахтах была посменной и, чтобы учиться по вечерам, я перешёл в проектный институт «Карагандагипрошахт». В 1961 году закончил (с отличием) вечернее отделение горного института, в 1971 году защитил в Москве диссертацию.

В проектном институте я проработал почти сорок лет. Начинал с младшего техника, закончил - вице-президентом проектной фирмы. По разработанным нами проектам были построены крупнейшие угольные разрезы Казахстана и Средней Азии. Такие, например, как разрез «Богатырь», который добывал каменного угля больше, чем все карагандинские шахты вместе взятые (теперь этим разрезом владеют американцы).

Несколько лет преподавал на горном факультете института, доцент.

С приходом перестройки появилась возможность сотрудничать с зарубежными фирмами – я несколько раз был в Германии, был в США, в Австралии, в Японии.

Моя работа в угольной промышленности в какой-то мере была оценена и официально – я полный кавалер знака Шахтёрская слава, имею правительственные награды, с 1988 года лауреат Государственной премии СССР.

Женился я рано, в 22 года. Жена Таисия Константиновна, урождённая Скрябина, с ней мы прожили уже более пятидесяти лет. У нас дочь и сын, а теперь ещё и три внучки.

На дворе 2007 год. В этом году мне будет семьдесят пять, хороший повод подводить итоги. И я могу сказать, что, несмотря на непростое детство и многолетние «ограничения», я доволен своей судьбой. Я смог получить образование, я занимался интересным и нужным для людей делом, у меня хорошая семья.

Что ещё нужно человеку?

* * *

В феврале 2006 года я разыскал по интернету двух своих одноклассников. В 1951 году мы закончили десятилетку, они поступили в институты, меня не выпустила спецкомендатура. С тех пор я потерял их след.

Когда я созвонился с одним из них, постоянным нашим отличником, и каждый поведал, как прожил эти годы, он сказал:

- Все эти трудности и ограничения были для тебя «сопротивлением среды». Постоянно преодолевая это «сопротивление», ты и смог чего-то добиться.

Возможно, что и так...



**Наша семья.
Фото 1992 г.**



**Проектная организация "Карагандагипрошахт",
где я проработал с 1954 по 1995 год.**



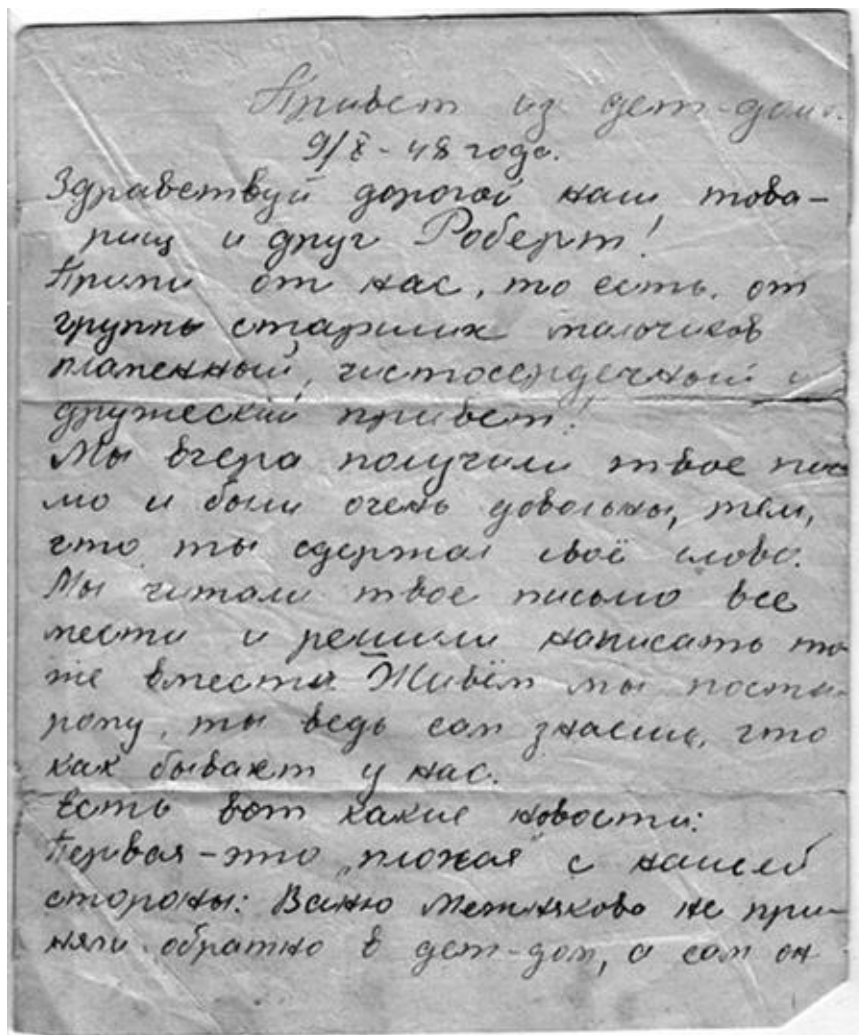
Мой рабочий кабинет с 1983 по 1995 год.



**В Германии.
Фото 2006 г.**

ПИСЬМА ИЗ ДЕТДОМА

Из первого письма, присланного мне в Казахстан из Кленовского детского дома:



"Привет из дет-дома.

9/X - 48 года.

Здравствуй дорогой наш товарищ и друг Роберт!

Прими от нас, то есть, от группы старших мальчиков пламенный, чистосердечный и дружеский привет!

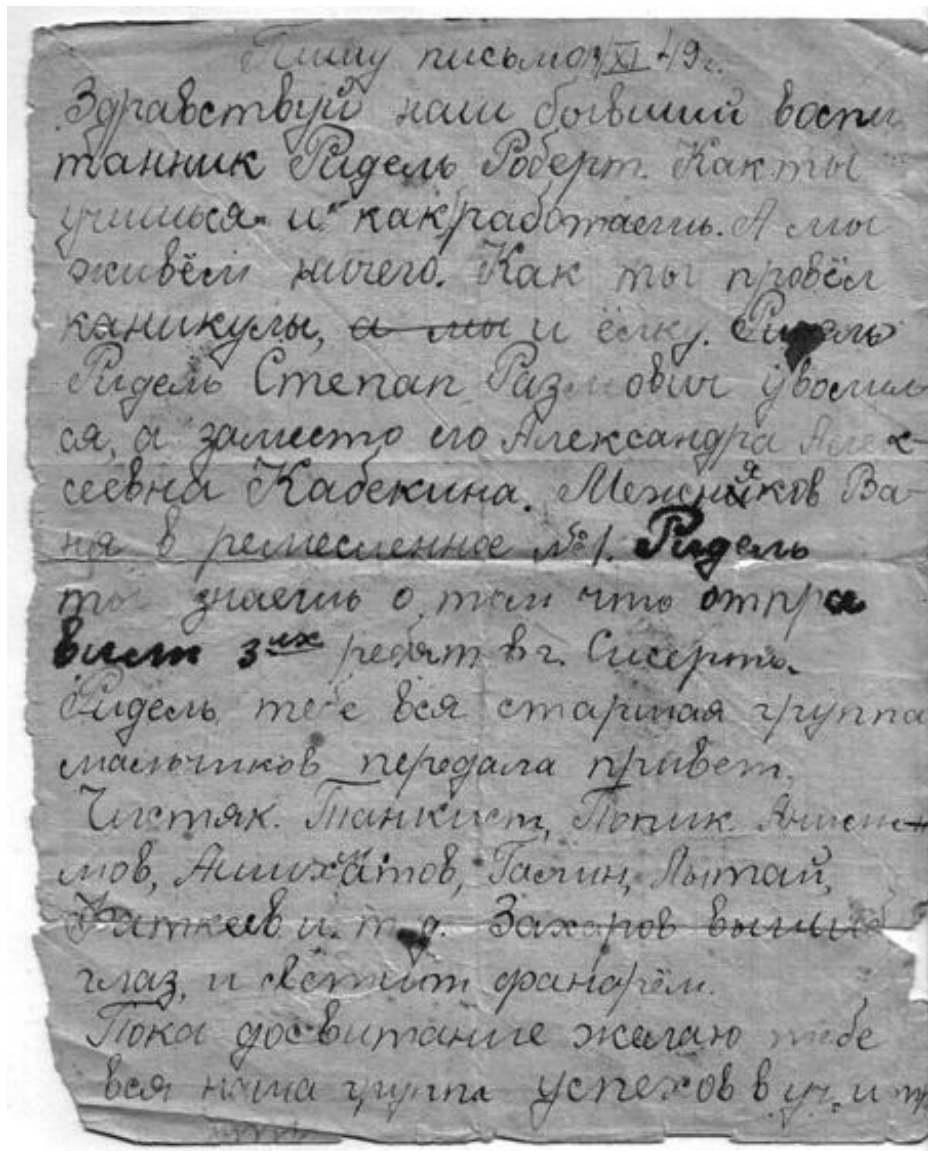
Мы вчера получили твоё письмо и были очень довольны тем, что ты сдержал своё слово. Мы читали твоё письмо все [в]месте и решили написать тоже вместе. Живём мы постарому, ты ведь знаешь, что как бывает у нас.

Есть вот какие новости:

Первая - это "плохая" с нашей стороны: Ваню Межнякова не приняли обратно в дет-дом, а сам он не захотел ехать туда. Куда - сам знаешь. Неизвестно куда уехал.

Вторая новость - это ничего: Шурку Шабалдина приняли в дет-дом..."

Письмо из Кленовского детского дома (писал Виктор Анисимов):



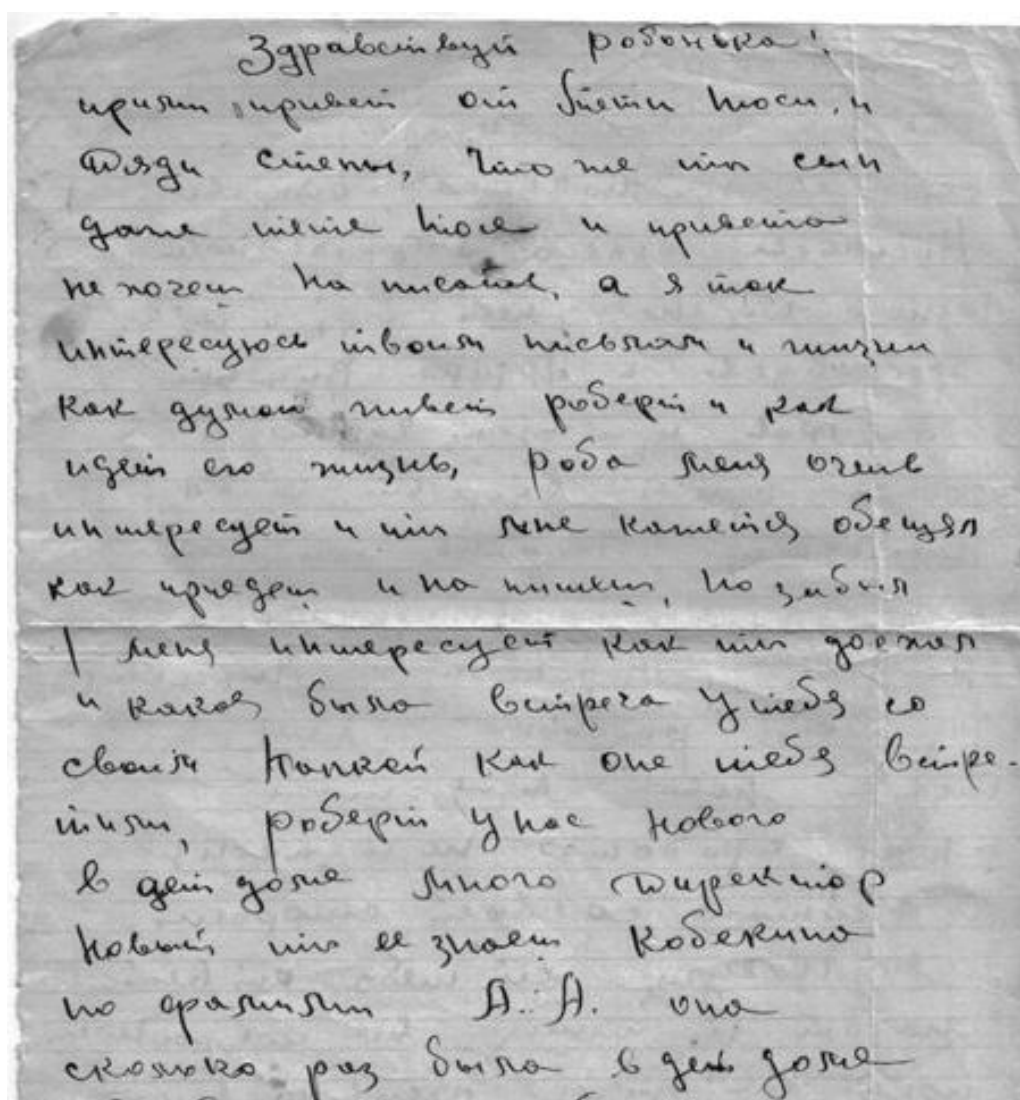
«Пишу письмо 14/XI 49 г.

Здравствуй наш бывший воспитанник Ридель Роберт. Как ты учишься и как работаешь. А мы живём ничего. Как ты провёл каникулы, и ёлку. Ридель, Степан Размович уволился, а вместо его Александра Алексеевна Кобекина. Межняков Ваня в ремесленное № 1. Ридель, ты знаешь о том, что отправили 3-их ребят в г. Сисертъ.

Ридель, тебе вся старшая группа мальчиков передала привет. Чистяк, Танкист, Попик, Анисимов, Ашихматов, Галин, Лытай, Фаткеев и т. д. Захаров вышиб глаз и светит фонарём.

Пока досвидание. Желая тебе [и] вся наша группа успехов в уч. и тр."

Из письма сотрудницы Кленовского детского дома



Здравствуй Робонька!
прими привет от тети Тоси и дяди Стёпы, и
дяди Стёпы, так же ты сын
даже тебе тоже и приветом
не можешь написать, а я так
интересуюсь твоим письмом и жизнью
как думают тебе Роберт и как
идёт его жизнь, роба меня очень
интересует и ты мне как-то обещаешь
как приедешь и напишешь, но забыл
| меня интересует как ты доехал
и какая была встреча у тебя со
своим папкой как она тебя встретила.
Роберт у нас нового
в детдоме много директор
новый ты ее знаешь Кобекина
по фамилии А. А. она
сколько раз была в детдоме...

«Здравствуй Робонька!

Прими привет от тети Тоси и дяди Стёпы. Что же ты сын даже тете Тоси и приветом не хочешь написать, а я так интересуюсь твоим письмом и жизнью. Как думаю живет Роберт и как идет его жизнь. Роба меня очень интересует и ты мне кажется обещаешь как приедешь и напишешь, но забыл. Меня интересует как ты доехал и какая была встреча у тебя со своим папкой, как она тебя встретила. Роберт, у нас нового в детдоме много. Директор новый ты ее знаешь Кобекина по фамилии А. А. Она сколько раз была в детдоме..."

СОДЕРЖАНИЕ

1. Тетрадка по чистописанию	5
2. В Сибири	11
3. Свинопас	16
4. Маму увезли. Тётя Шура	22
5. «Школа глухонемых»	28
6. Северный Урал	31
7. Детский приёмник	37
8. «Исправдом»	40
9. Детдомовские воспитатели	45
10. Рецидивист и гармошка	53
11. Сенокосы	58
12. Добыть пропитание	63
13. Перка, Коник	67
14. Лыжный плеврит	70
15. Попик, бедная Лиза и другие	73
16. Труды наши. Лесной Новый год	75
17. И Артек, и дебил	78
18. Техникум на одну неделю	82
19. В Казахстан	87
20. Темир-Тау	92
21. Я – горняк	96
22. «Ограничения»	105
23. Наум Коржавин	109
24. Жаркое лето 53-го	113
Что было потом	117
Письма из детдома.	121